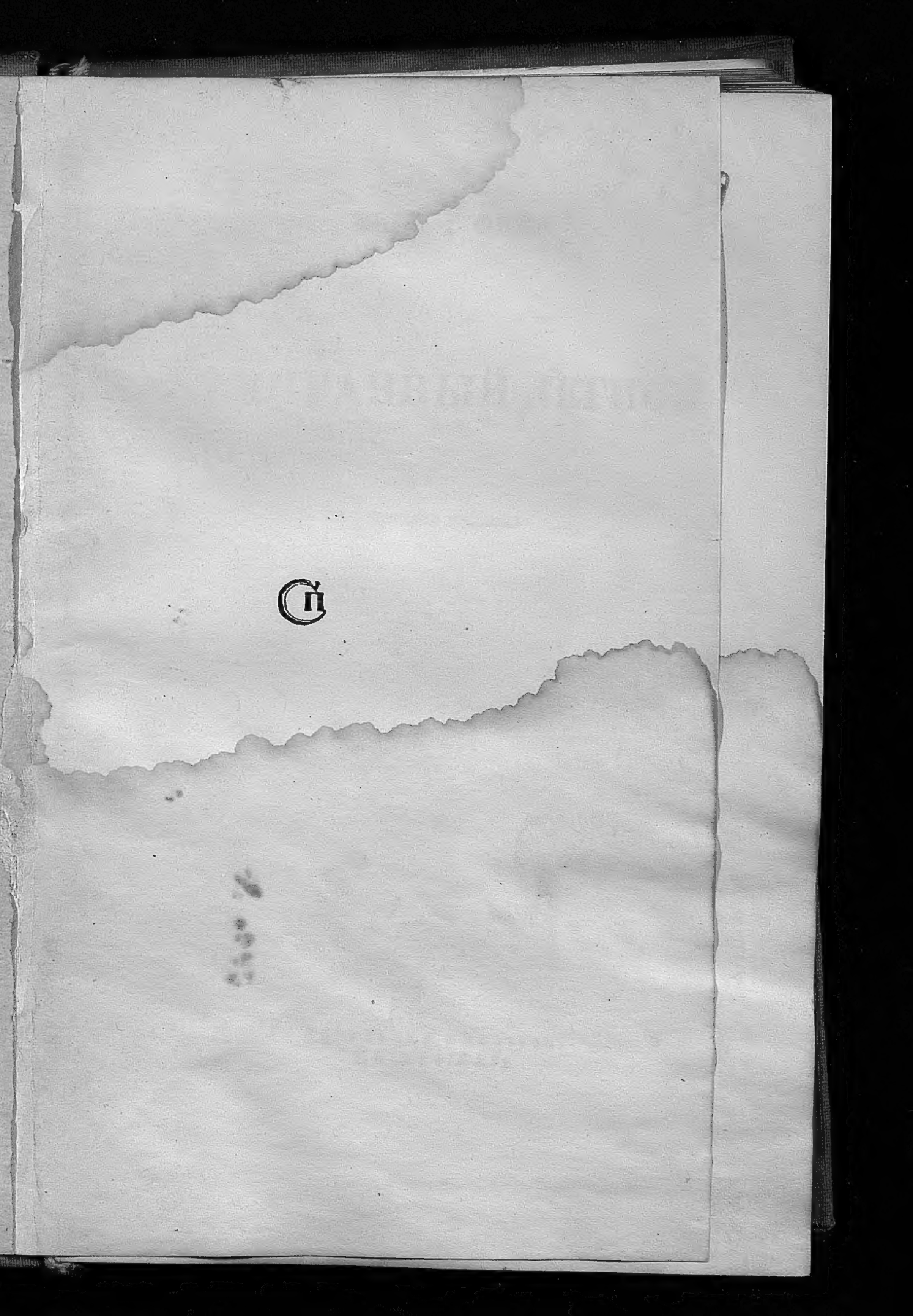
ИКТОР ФИНК

ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН



ВИКТОР ФИНК

ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН

Второе издание

Советский писатель
Москва 1936

Переплет работы
художника
А. Смолянского

Моей жене Э. Я. Финн

Читатель!

Издательство просит сообщить отзыв об этой книге, указав ваш точный адрес и возраст.

Просьба к библиотечным работникам организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов о ней.

Все отзывы и материалы направлять по адресу: Москва 9, Большой Гнездниковский пер., д. 10, издательство «Советский писатель».

БИГУДО

I

Деревня Фонтэнэ предстала перед нами как давно забытое видение мира и благополучия. Ее крыши весело сверкали черепицей, дома стояли совершенно целые — добротные, хорошие, каменные дома, могучие платаны оберегали их прохладу, фруктовые сады окружали их сытой приветливостью, тучные огороды простирались у самого берега прозрачной речки и в каждом дворе на все голоса мычал, ревел и блеял дородный скот.

Солдаты возмущались.

— Что же это? — говорили они. — Во Франции есть места, где живут счастли-

вые народы, не знающие, что такое война? Это как ж так?

Война врылась когтями в землю километрах в сорока по прямой линии отсюда. Там она укрепилась и замерла, а здесь тыл — неприкосновенный, спокойный и благополучный.

Мы прибыли сюда на продолжительный отдых — оправиться от потерь, понесенных в боях за высоту 110.

Разместившись кое-как на сеновалах, в сараях и погребах, солдаты вышли побродить по деревне, поискать вина и приключений. Одни мы с моим другом, рослым бородатым легионером первого класса Бланшаром, по прозванию Лум-Лум, никуда не пошли, — ни у него, ни у меня не было ни одного сантима. Куда тут сунешься?

Мы понуро стояли у ворот, как вдруг Лум-Лум хлопнул себя по коленям и в восторге закричал:

— Зу-зу! Здесь стоят зу-зу! И как раз 2-й полк!..

Он бросился к рослому зуаву, который пересекал улицу.

— Эй, приятель! — кричал Лум-Лум. — Стой! Какой батальон? Первый? Вот здорово! А вторая рота здесь?

Вторая рота оказалась расквартирована на соседней улице.

— А не знаешь, Бигудо есть?

— Сержант Бигудо? Не знаю!

— Неужели он уже сержант? — изумился Лум-Лум и, обращаясь ко мне, добавил: — Раз Бигудо сержант, то я знаю кое-кого в Легионе, кто сегодня славно выпьет. Не беда, Самовар, что денег нет! Легионеру не надо денег, легионеру нужна удача! Бигудо — мой первый друг на свете! Идем!

Зуаву было с нами по дороге. Мы узнали, что их полк тоже пришел в Фонтэнэ после тяжелых потерь. С высоты 119 вернулась половина состава. От первого батальона едва ли осталось человек сто.

— Вот тут их канцелярия, — сказал зуав, указывая на большую ферму, которая открывалась из-за поворота. Он попрощался с нами и ушел.

— Ха! Сержант! Он уже произведен в сержанты, это животное Бигудо! Ну, когда так, то у меня жажда, — говорил Лум-Лум.

Он пришел в радостное возбуждение, что было ему совершенно несвойственно. Обычно молчаливый и замкнутый, он сделался словоохотлив.

— Эх! — говорил он. — Зуавы! Вот солдаты! Зуав тебе накалывает туземца на штык, как охапку сена на вилы. А какие товарищи! Что ни парень, то свой брат. Это верно, есть между ними и грязь, маменькины сынки, которые идут в зуавы, чтобы носить болеро и шешию! Это нра-

вится девчонкам! Особенно сероуаль! Таких я не считаю! Но есть братья, есть такие — прямо столб, а не парень, и ничего больше. Ты подружился с ним, и кончено. Вы — одна кровь, и вот и все! Вот Бигудо из таких! Ты с ним подружишься, Самовар! Клянусь, через два дня вы будете неразлучны, как спина и рубаха. Вообще я страшно рад, что мы попали в эту дыру все вместе: мы хорошо поживем здесь.

У Лум-Лума сделалась на радостях прыгающая походка, от нетерпения он стал шумлив.

— И заметь,—говорил он громко и быстро,— судьба сводит меня с этим чортом Бигудо везде и всюду. Можно сдохнуть!.. Стоим в Сиди-бель-Абессе и они в Сиди-бель-Абессе. Угоняют нас в Сфиссифу — это такая дыра в Африке, мое почтение! Смотрю, через несколько времени и они тут. Гонят нас в Кэнэг-эль-Азир! Вхожу в кабак — мой Бигудо здесь. Скажу тебе, что таких парней не очень много в армии. Это — герой, это — храбрец, это —друг и это — хороший парень! А бабник какой!.. И он знает толк в жизни. Везде он умеет пристроиться к кабатчице, если она вдова! До чего на этого Бигудо вдовы лакомки,— пропасть можно! Как раз в Сфиссифе он себе одну приделал еврейку. Ну и толстая она была, — прямо не зад у ней был, а собор парижской богоматери. Обожала она

моего Бигудо, как кошка! Вот когда я хорошо ел и пил...

В канцелярию зуавов мы вошли вместе.

— Что нужно Легиону? — спросил усатый капитан с перевязанной рукой, сидевший за столом.

Лум-Лум, вскинув руку к козырьку, только собрался спросить про своего приятеля, когда, хлопая дверью, в помещение ворвался дородный пожилой фермер. Не снимая шляпы, он направился прямо к капитану и, покрывая голос Лум-Лума неистовым басом, начал с места в карьер:

— Это невозможно, мсье! Я не обязан терпеть это.

— Что еще? — вяло спросил капитан.

— Я опять по поводу этого сержанта!

— Бигудо?

Лум-Лум толкнул меня под локоть.

— Мой Бигудо!..

— Бигудо или не Бигудо — мне безразлично, как он называется! Но я требую, чтобы его убрали немедленно.

— Так и есть! — шепнул мне Лум-Лум. — Про моего Бигудо. Он опять чего-нибудь натворил! Если у этого чудака молодая жена, то я догадываюсь, что именно...

— Ведь я сказал вам — после обеда, — ответил капитан.

— После обеда! После обеда! — не унимался фермер. — Мне некогда ждать,

когда ваши господа соизволят принять пищу! Уберите его немедленно.

— Вон отсюда, — с пренебрежением и деланной вялостью сказал капитан.

Тогда выступил Лум-Лум.

— Папаша! — сказал он. — Откуда его надо убрать, Бигудо? Он спит с твоей женой? Или с твоей дочкой? Тогда ты его так скоро не сгонишь...

— Эй, там, Легион! — поднял голос капитан. — Не соваться не в свое дело!

А фермер никак не ответил на колкости Лум-Лума. В ярости и волнении он не обратил на них внимания.

— Из-за него мои овцы потеряли аппетит, — кричал он все о своем.

— Великий боже! — шепнул мне Лум-Лум. — Что он там мог натворить, этот чорт Бигудо, что овцы потеряли аппетит?

— А плевать мне на ваших овец и на вас тоже. Вон! — совсем уже флегматически ответил капитан.

Фермера это взорвало.

— Как? — заорал он. — Плевать? Вы забываетесь, мсье! Я — налогоплательщик! Я — французский избиратель! Я — отец семейства! Я — фермер-производитель!.. На меня наплевать? Я буду жаловаться генералу! Мы от немцев не видели обиды, а тут приходят свои...

Офицер поднялся и, подойдя к фермеру вплотную, гаркнул «вон» с такой неожи-

данной силой, что у налогоплательщика и избирателя задрожали ноги. Мы расступились, и он пулей вылетел в дверь.

Тогда Лум-Лум снова вскинул руку к козырьку.

— Господин капитан! — сказал он.— Мы тоже пришли по поводу Бигудо. Это мой старый закадыка по Африке! Мне бы его повидать. Можно?

— Он там в сарае валяется, — сказал капитан.

II

Здоровенный детина, покрытый шинелью с сержантским галуном на рукаве, лежал в сарае на соломе в темном углу. Шинель была натянута до подбородка, кепи надвинуто на нос.

— Вот он, старая свинья! — обрадованно воскликнул Лум-Лум. — Дрыхнет! Вставай! Вставай, кляча!

Лум-Лум пихнул приятеля ногой.

— Кто вы? — испуганно спросил зуав, появившийся в дверях.— Вы не сумасшедшие случайно?

Появился и фермер.

— Плевать на меня? — ворчал он, отчаянно жестикулируя. — Ну, нет, мсье! Хоть я и не ношу галунов, но у меня есть кое-что поважнее! Я — хозяин! И подбра-

сывать мне эту гадость, из-за которой мои овцы не едят, — нет, этого я не позволю!.. Нет...

Он распахнул ворота сарая и выгнал овец. Они выбежали с блеянием и, пробегая мимо Бигудо, шарахались от него в страхе, а он так и не просыпался.

— Видать, здорово нализался, старый верблюд!—сказал Лум-Лум.—Узнаю Бигудо! Эй, ты, штанина,— обратился он к зуаву. — Что он, давно пьян?

— Кто ты там, наконец, у вас в Легионе? — изумленно произнес зуав. — Ты — батальонный дурак или кто? Не видишь— парень смердит уже третьи сутки!

— Бигудо! — крикнул Лум-Лум сорвавшимся голосом. — Бигудо сломал трубку?

— А как же? — ответил зуав. — Когда ходили на высоту 119, он вставил какому-то баварцу в зад свой штык как клистир и не мог вытащить... У баварцев зады тугие, знаешь...

— Ну!.. — нетерпеливо дернулся Лум-Лум.

— Ну, а другой баварец выстрелил в него в упор из револьвера. Бигудо упал. Когда это кончилось, вся эта карусель, мы передали позицию марокканским стрелкам, а сами занялись погребением.

— Ну!.. Ну!.. — нетерпеливо восклицал Лум-Лум.

— Вот тебе и ну! Бросили Бигудо в об-

щую яму и еще пятьдесят парней с ним. Уже их стали засыпать землей, как вдруг этот Бигудо начинает ворочаться и стонать. «Я жив», — он говорит... А тут санитар — трусливая сволочь, — им страшно быть под открытым небом,—санитар кричит: «Жив? Вранье! Все так говорят!» И сыпет себе землю прямо Бигудо на морду. Хорошо, что случились ребята из взвода, которые знали Бигудо. Они понимали, раз он говорит, что жив, значит, жив. Ну, его откопали и сразу в госпиталь. Парень был, правда, плох. Доктор говорил, повредили ему там что-то, когда швыряли в могилу, оторвали что-то или поломали. Но все-таки был живой. Все бредил, рвался в бой! Требовал ручных гранат. И однажды ночью пропал. Ушел из госпиталя и нет его. А позавчера его нашли на огороде уже холодного.

— Скажи, пожалуйста! — сказал Лум-Лум хрипло.

Мой приятель стоял бледный и хмурый. Он подавал свои реплики рассеянно. Он отсутствовал. Он уже не слышал рассказа зуава о том, что капитан хотел похоронить своего любимого сержанта непременно в гробу и непременно с мессой, а это вызвало задержку, потому что полковой кюрэ убит, а местный гробовщик мобилизован, и что хозяин фермы бесится и требует, чтобы труп убрали поскорей. Лум-Лум не

слышал всего этого. Он растерянно глядел вдаль.

Какие видения носились перед его глазами? Убитый друг вставал и с ним забубенные радости африканских походов? Или внезапно собственная жизнь возникала, туго-натуго и навеки заколоченная в солдатский ранец?

Во дворе показался санитар. Он нес на голове гроб, держа его обеими руками.

— Ну, наконец-то, вот и упаковка для Бигудо, — сказал зуав.

Мы стали все вместе водворять покойника в его последнее жилище. И только тогда Лум-Лум почувствовал то, чего он не чувствовал раньше, захваченный неожиданностью и первым ощущением горя — мучительный запах смерти. Остатки иодоформа еще оказывали сопротивление. Лекарства еще не бросали борьбы. Но уже давно они были бесполезным. Тление трубило в могучие трубы. Дух его сбивал с ног.

— И что у него там было такое в животе, у этого брата, что он так воняет? — пробормотал Лум-Лум.

Он сгреб в охапку солому, на которой лежал покойник, и вынес ее во двор, позади сарая.

— Надо сжечь это, к свиньям, — сказал он. — А то овцам вредно...

КАФАР ЛУМ-ЛУМА

Ночью поднялась тревога. Старший сержант Уркад ворвался к нам в канью, как назывались на солдатском языке жилые ямы в окопах, и стал гнать нас к бойницам.

— В ружье! Все в ружье!

Лум-Лум, спавший в углу, вставать не хотел.

— Что случилось? — проворчал он. — Чего ты опять взбесился? Чего ты спать не даешь людям, дьявол?

Он повернулся набок и снова заснул.

Капрал Миллэ толкнула его ногой.

— Вставай, старая гиена! Атака!

Мы выбежали в окоп и заняли боевые места.

Была темная ночь. Ветер приносил свежее дыхание незасеянного поля. Оно пахло диким маком.

Неясный стук слышался в тишине со стороны неприятеля. Немецкая рота вышла укреплять проволоку впереди своего окопа. Уркад отдал команду стрелять. Мы слышали крики и стоны раненых. Но после нескольких залпов в окопе были оставлены одни дежурные, а нас всех загнали назад в каньи. Никакой атаки не было. Произошла еще одна обычная перестрелка, какие случались каждую ночь и давно всем надоели. Лум-Лум оказался проницательней всех.

Лум-Лум спал на своем месте.

— Несчастье! — заревел Миллэ. — Товарищи идут дырявить себе шкуры, а тунеядцы дрыхнут за счет республики и видят во сне ангелов. И главное, это всегда одни и те же! В Конго надо было выступать против черных, а его дружок Ваган как раз лег спать, и его нельзя было добудиться. В Аннаме Мальро заснул в кабаке накануне атаки. А теперь этот... Старая гиена!..

Лум-Лум только пробормотал, поворачиваясь на другой бок:

— Закрой хайло! Закрой!..

Мы легли. Миллэ долго ворчал и, обратясь к толстяку Франши, которого в роте

звали Мочевой Пузырь, стал объяснять ему, что гиены — животные трусливые.

Лум-Лум, оказывается, слышал. Он вскочил на ноги и, схватив котелок, поднес его Миллэ к самому рту.

— На! — воскликнул он. — Выблюй все, что ты знаешь про трусов, и закрой! Закрой хайло, а не то будет худо.

На другой день он обошел всю роту и выклянчивал у каждого в отдельности понемножку коньяку, который нам выдавали в рационе. Он напился и ходил мрачный.

— У парня тоска, — сказал сочувствующим и почтительным шопотом мой приятель люксембуржец Жиру. — Тоска! Полный кафар! Не трогай легионера, когда у него кафар...

— Есть от чего!.. — ворчал Кюнз. — Парни забыли, как устроены человеческие жилища!

— Я бы лучше посмотрел, как устроены мамзели! Забыл! Клянусь кровью спасителя, забыл! — вставил итальянец Пеппино Антонелли, по прозванию Колючая Макарона.

— В тылу думают, что мы — герои! Что мы покрыты рубцами и ранами! А у нас мясо всего только изъедено вшами. Ногтей нехватает рвать на себе тело! — рычал Пузырь.

Капитан, обходя днем каньи, заглянул

и к нам. У нас было относительно опрятно, и он остался доволен.

— Ребята! — обратился он к нам. — Дети мои!

Капитан был темпераментный и громоподобный южанин. Он стоял, опершись о палку, громадный, старый волк Легиона. Он хотел говорить непринужденно и шутливо, но тоска грузно ворочалась и в его глазах и мешала ему.

— Вы начинаете думать!.. — выпалил он после долгого молчания. — Вы думаете, что у вас не капитан, а старая кобыла, которая не знает дороги к неприятелю.

Солдаты молчали.

— Вы считали, — продолжал капитан, — что война — это переходы по живописным местам, где хорошенькие бабенки ожидают вас на каждом повороте дороги. Вы считали, что война — это горячие бои, шумные сражения, победы, ордена, рукопожатия маршала, поздравления президента! А мы гнием в траншеях, и дальше ночных перестрелок дело не идет.

Он помолчал и продолжал после паузы.

— Мне жаль моих добрых легионеров, с которыми мы мяли пески африканских пустынь. Не к такой войне они привыкли! И мне жаль волонтеров тоже. Они пришли в Легион с высокой и благородной идеей защищать свободу и цивилизацию.

Им надо видеть, какого цвета требуха у немцев, а немцы не показывают носа.

Он опять помолчал и продолжал после паузы:

— Так вот, дети, я расскажу вам хорошенькую вещь: это и есть война! Вместо храбрости теперь нужно терпение!.. Терпение! И не поддаваться тоске! Кафар — это морская болезнь солдата. Не поддаваться!.. Ясно? Идет весна. Весной мы пойдем к немцам в гости. Тем лучше будет для тех, кого мы не застанем дома!.. Вольно! Разойдись...

— Да, этот старый капитан Дельпеш! — качали головами легионеры. — Он умеет говорить. Он — отец, капитан! Он — отец!

После ужина, когда спустилась темнота, набирали охотников в разведку. Первым вызвался Лум-Лум.

Нам было поручено обследовать насыпь, которая утром неожиданно выросла между нашими и неприятельскими окопами. Предполагалось, что в яму за насыпью переселился стрелок, который по ночам беспрестанно посылал нам пули.

На поле давно лежало много неубранных трупов. Мы тихо ползли на брюхе и вскоре среди трупов растеряли друг друга.

За насыпью никто не скрывался. Она была, повидимому, вырыта для отвода глаз. Доползши до нее, я вскочил на но-

ги, высоко занес винтовку и с размаху ударил в яму. Там было пусто.

Сержант Кюнз видел мой силуэт при вспышке ракеты и потом грозил посадить меня под арест за то, что я встал во весь рост.

— Он мог вас наколоть на штык, как сардинку! — ворчал Кюнз. — Это ваше дело, конечно! Я из вашей шкуры башмаков не сошью. Но вы могли выдать всю разведку, олух! Вы мне тут будете играть в храбрость, а я из-за вас весь взвод растеряю?!

Храбрость! Он никогда не узнал, что я так и не изведал храбрости. Я беспрестанно искал на войне это чудесное чувство, но ни разу не испытал его. Силы уже покинули меня в тот момент, когда я опустил штык в яму. В какое-то неуловимо ничтожное деление секунды мне представилось, что в яме сидит такой же парень, как я, молодой и здоровый искатель восторгов, и я не смог его убить. Штык опустился беспомощно, как метелка.

Разведка прошла неинтересно. Мы вернулись продрогшие, грязные и злые. Лум-Лума не было с нами. Он явился минут через десять после переклички и молча лег спать. На рассвете он разбудил всю канью ревом:

— Спросите у этого Шакала, где его

кепи! Эй, Шакал! Ты пропил свое кепи? Отвечай!

Миллэ хватился, — его кепи действительно пропало. Он искал и шарил, где только было можно, но безрезультатно.

Лум-Лум хохотал во всю глотку.

— Какое несчастье видеть легионера, которому Франция даже не может доверить кепи!..

Он подхватил под руки меня и Рэнэ и вывел нас к брустверу.

— Смотрите, господин лейтенант! — сказал он проходившему полуротному, учтиво беря под козырек. — Смотрите прямо на немецкий окоп. Два пальца вправо от телеграфного столба. И вы, парни, смотрите!..

Мы увидели кепи легионера, надетое на штык. Штык был воткнут в труп.

Лейтенант вскинул бинокль.

— Это что такое? — изумленно воскликнул он.

Лум-Лум исчез. Мы слышали, как он орал, стоя у каньи:

— Эй, Миллэ! Есть кепи для тебя! Ставлю два литра против пустого стакана, что оно тебе будет по мерке! Стоит тебе только потрудиться сходить за ним!

Миллэ угрюмо выглянул из каньи. Он искал кепи. Лум-Лум издевался:

— Только, когда пойдешь, голубчик Миллэ, оставь штаны фурьеру на хранение, а то испортишь казенные штаны.

День опять прошел без событий. Моросил мелкий дождь. Было скучно.

Вечером Лум-Лум был снова пьян и грустен. Он сидел на мешке с хлебом и угрюмо пел на жаргоне североафриканских колоний песню с припевом: «Сунь свой зад в котел! Скажешь мне потом, горячо ли тебе было». О минувшей ночи он не хотел рассказывать. Когда Миллэ, вернувшись с дежурства, ложился спать, Лум-Лум вынул из-за пазухи два человеческих уха и бросил их ему:

— На, Шакал!— сказал он.— Иди, приклей их назад тому немцу и отбери у него свое кепи.

Он обвел канью и всех нас грустным взглядом, выплеснул остаток вина из кружки и лег спать.

У него был кафар.

ЖИВОЙ НЕМЕЦ

Почти перед самым рассветом батальон уходил на очередной отдых в лесок Блан-Саблон. В ходах сообщения была давка и сутолока.

В поле раздался одинокий выстрел. Послышался сдавленный крик.

— Наши хозяйничают! — сказал кто-то. — Разведка!..

Через несколько минут с фланга пришел слух, что разведка вернулась невредима и даже привела пленного. Выйдя из окопов на дорогу, я видел, как в головную часть отряда побежало трое, из них один безоружный. Это вели пленного. Но лица мы не видели: утро едва-едва зарождалось...

Сбросив ранец в Блан-Саблоне, я отправился в тыловую деревушку Кюри к зубному врачу. Оказалось, путевку имел и Лум-Лум. Мы пошли вместе.

У самой деревушки, не заходя в околоток, Лум-Лум завернул от церкви направо за угол в переулок.

— Надо немного почиститься! — сказал он. — А то неловко: у них тут в тылу все ходят щеголями, а мы, смотри, на кого похожи.

Он поднялся на две каменных ступеньки и открыл дверь, гостеприимство которой знали все проходившие здесь полки. Молодая вдова быстро собрала нам поесть. Две бутылки вина выросли перед нами, хозяйка присела к нашему столу, и жизнь совершенно незаметно, как-то сама по себе, стала становиться прекрасной. Лум-Лум обнимал хозяйку, щекотал ее, целовал за ушком, потом вызвался наколоть ей дров, и они оставили меня не меньше чем на час. Потом мы выпили еще по бутылке. Лум-Лум пришел в состояние полного благодушия и стал умолять меня, чтобы я, не стыдясь, сознался, что у себя на родине я, как и все в России, питался свечами и пил керосин. Он заклинал меня знаменами Легиона и памятью убитых товарищей. Я, в конце концов, сознался. Хозяйка была в бешеном восторге от того,

что ей пришлось увидеть такого необыкновенного дикаря.

— Как это красиво, что даже такие народы пришли защищать Францию! — воскликнула она и принесла еще литр красного.

Ничто чудесное не бывает длительно. Мы вспомнили про врача и отправились в околоток.

— Почиститься мы так и не успели, — сказал я Лум-Луму, но это его не смутило.

— Плевать я хотел на этих тыловых щеголей! Пускай видят, как выглядят добрые бородачи, сидящие в траншеях под огнем.

Врач сразу понял многое по нашему виду.

— Вы, однако, расторопные легионеры! — сказал он. — С утра пьяные.

— Надо ж было немного промочить глотки, господин доктор! — сказал Лум-Лум заплетающимся языком. — Жарко! Песок бьет в рот! Пересыхает в горле! Понятно?

— Это ж где жарко? Какой песок бьет вам в рот? Легионер, вы не взглянули на календарь! Теперь март, на дворе грязь.

— Ну да, господин доктор! — отвечал Лум-Лум, икая. — Грязь! Когда я говорю «жарко» и «песок», я имею в виду Алжир. А здесь, конечно, грязь. Но вот этот ле-

гионер второго класса, — сказал он, указывая на меня, — пришел в Легион, чтобы поломать себе морду за Францию. Он — русский, у него даже имя чисто русское... Его зовут Самовар. Это у них вроде как у нас Жан или, скажем, Пьер. Так вот! Он происходит от белого медведя и ему жарко в нашем климате. Вот я и разрешил ему выпить глоток красного.

Мне было совершенно ясно, что мы сейчас отправляемся под арест не меньше чем на две недели, и что Лум-Лум носит свою нашивку солдата первого класса в последний раз в жизни.

Но врач оказался каким-то чудаковатым малым. Он вырвал нам по зубу и даже дал три франка на вино. При этом он порекомендовал нам зайти в некий гостеприимный дом, что от церкви за угол направо, в переулке, две каменных ступеньки вверх. Там есть добрая женская душа, и мы сможем подкрепиться.

Так и есть! Мы попали обратно к вдове.

Опять все началось с самого начала. Опять появилось на столе вино, Лум-Лум опять увел вдову колоть дрова. Я бросил шинель на скамейку и успел изрядно выспаться, раньше чем они вернулись. Мы наполнили свои двухлитровые африканские фляги и, наконец, отправились назад в роту.

Лум-Лум был пьян. Кроме того, его со-

вершенно разморило от усталости и восторга. Он обнимал меня, целовал и стал пьяным голосом горланить знаменитую песню колониальной пехоты:

Жила на свете прачка.
Она белье всем мыла,
А муж стоял с ней рядом
И подавал крахмал.

Жила на свете швейка.
Она белье всем шила,
А муж сидел с ней рядом
И петельки метал.

Безумье — в бабьи страсти
Запутывать себя!
Солдат! Коль хочешь счастья,
Люби всегда шутя.

В изменчивой сей жизни
Твое занятье — бой!
Сжимай винтовку крепче
И песни громче пой!

Лум-Лум не пел, а горланил. Вид у него был неважный. Я решил, что итти дорогой нам невыгодно: первый встречный сержант отведет нас под арест. Я свернул в лес и повел приятеля тропинкой. Здесь он почему-то прекратил пение.

— Почему ты пришел в Легион? — внезапно спросил он. — Ведь это же сказки для офицеров, когда вы говорите, — вы, все русские, — что у вас такая идея! Что

вы защищаете идею! Какая такая идея бывает, чтобы ломать себе морду за чужих людей, получая едва одно су в день? Я не верю этому. Так много дураков сразу не бывает! Ну, один! Ну, два! Но ведь вас тысячи, русских волонтеров. Если вы все идиоты у вас там в России, — расскажи мне об этом подробно.

Впрочем, не дожидаясь моего ответа, он стал говорить о себе. Навело его на откровенность воспоминание о гостеприимной вдове.

— Понимаешь, она совсем, как моя жена Луиза, которую я искрошил. Да, старина! Я все больше убеждаюсь, что это все-таки было глупо с моей стороны. Мы жили с ней, как голубки, в Бельвилле и могли жить так сто лет, если бы не этот итальянец. Понимаешь, там завелся итальянец. Чуть я из дому, он в дом, чуть я из дому, он в дом! Ну, раз побил ему морду, ну, два! Однако не могу же я каждый день бить его, — ведь мне работать надо. Я ведь плотник, не правда ли? Ну, и что ты думаешь? Прихожу однажды вечером, вхожу в комнату, а мои голубчики сидят растерянные и неодетые. Тут у меня кровь прямо в миг свернулась в сыворотку. И как хватил я топор, да как пошел крошить! Покуда не прибыла полиция, я продолжал крошить. Рагу я из них сделал! Кровать, и ту раскрошил! На гарнир! Ну,

конечно, меня судили! Но присяжные поняли, что я не злой малый и в общем поступил, как всякий поступил бы на моем месте! Ну, меня, конечно, отпустили. И все-таки я скажу тебе, что мне сделалось неприятно. Даже жить в Бельвилле и плотничать не захотелось. Думал я, думал и решил: пойду в Легион! Это такое ремесло, что кто не сдохнет, тот выживет!.. И знаешь, что я тебе скажу? Мне жалко Луизу! И даже этого беднягу итальянца,— Умберто его звали! Ну, что он сделал? Лез к чужой бабе? А кто не лезет к чужой бабе? Ты не лезешь? Я не лезу? Все люди лезут к чужим бабам! Ну, и итальянец тоже! Что ж тут такого?! Это, скорей всего, было глупо с моей стороны пустить его на мелкие куски. Я вправду так думаю. Как твое мнение?

Я давно любил Лум-Лума. Меня привлекала ясная простота этого человека. Мне хотелось слушать его. Я предложил присесть покурить.

— Это правильно! — сказал он и сразу плюхнулся наземь. — Прочитай мне, пожалуйста, Самовар, теорию о войне, — сказал он, примащиваясь поудобней на груде гнилых листьев. — Пункт первый: почему я, легионер первого класса Бланшар, по прозванию Лум-Лум, который укокал итальянца и кается, должен еще, кроме того, убивать кабиллов, аннамитов и немцев?

Отметь особо: итальянец отнял у меня жену, а немцы у меня ничего не отняли, потому что я уже ничего не имею. Пункт второй: почему именно во Франции сейчас поднялся спрос на немецкое мясо? Люди лезут в немецкий окоп за черепами, как в чужой сад за яблоками! Отметь: я никогда не воровал яблок!.. Обдумай свой доклад, старина, а я пока вздремну. И вот моя баклага, — когда я захочу пить, разбуди меня.

Через минуту он храпел. Заснул и я. Но долго спать не пришлось. Я был разбужен выстрелом. Лум-Лум стрелял куда-то в чащу и неистово кричал:

— Кабаны! Кабаны! Рота, пли!

Я подумал, что у него припадок белой горячки. Однако в чаще действительно прошмыгнули кабаны. В ту пору лесные жители, растревоженные людскими делами, побросали свои логовища и, носясь по стране, нередко подходили вплотную к человеческому жилищу. Одного кабана мы убили. Захлебываясь от детской радости, Лум-Лум стал расписывать, как это будет здорово, когда мы явимся в роту с кабаном.

— Пошли зубы рвать, а принесли кабана!

У него мелькнула было мысль продать тушу интендантству, но он быстро отказался от этих мелочных соображений.

— Придем и скажем — вот, рота, лопай, поправляй здоровье. А нам ничего не надо! Капитан, конечно, заберет окорока себе, но ничего не поделаешь! Хватит и нам!..

Туша оказалась тяжела. Мы перевязали лапы, продели винтовки и с трудом понесли ее, сгибаясь под тяжестью.

— Вот будет подарочек, так подарочек! — говорил Лум-Лум, кряхтя.

Но далеко нам нести тушу не пришлось. Неожиданно из чащи появились артиллеристы. Они набросились на нас с бранью. В чаще, оказывается, стояла замаскированная батарея. Наша пальба взбудоражила всех. Тревога поднялась по всей линии.

Стало ясно, что нам не миновать ареста в этот день, и что Лум-Лум все-таки потеряет сегодня свою нашивку. Однако ветчина помогла. Артиллеристы заставили нас снести кабана к ним на батарею, нас же они прогнали с бранью и пинками, но начальству не выдали.

День, начавшийся так радужно, стал портиться. Усталые, разбитые, голодные поплелись мы на свой бивуак. Мы думали вернуться героями, а возвращались с необъяснимым опозданием на пять часов. Никто не поверит, что на нас напало стадо кабанов, что мы выдержали сражение с ними и подстрелили знатное угощение для роты. Этому никто не поверит, но зато

всякому будет ясно, что мы плохо держимся на ногах и что от нас разит винищем. Скорей бы добраться до взвода и завалиться спать, а потом как-нибудь незаметно юркнуть к обеду.

Однако мы опоздали: все пообедали. Взвод бил вшей. На поляне, у воронки, в которой скопилась дождевая вода, сидели солдаты, занятые генеральной чисткой. Вся кухонная посуда — бачки, тазы, котелки, ведра висели над кострами: взвод кипятил белье в мыльной воде. Солдаты сидели голые и чистили верхнее платье. Шаровары, куртки и шинели были вывернуты наизнанку. Трутами, тлеющими щепками или горящей бумагой каждый выжигал насекомых, забившихся в швы. Все наши были здесь — Мочевой Пузырь, Колючая Макарона, Бейлин, Рэнэ, Миллэ. Нас встретили ироническими восклицаниями.

— Вот они, голубчики!

— Вернулись-таки!

— В гостях хорошо, а дома лучше?

— А ну-ка, покажите зубы! Не все вырвали? За это время могли новые вырасти.

Но Лум-Лум догадался пустить по рукам наши баклаги, и нас оставили в покое.

Тут же мы заметили, что во взводе есть новичок. Какой-то незнакомый детина громадного роста в светлорыжей бороде сидел голый у костра. Он испуганно посмотрел на нас.

Это был пленный немец. Он, оказывается, застрял. Легионер Карбору из третьего взвода был назначен проводить его в штаб. Но едва они показались на дороге, как над ними стали разрываться шрапнели. Немцы недавно построили себе новый наблюдательный пункт, который открывал им вид на дорогу. Карбору был ранен и упал. Немец оказался добросовестным пленником: он подобрал конвоира и его винтовку и отнес на бивуак.

— Смешной тип! — определил его Лум-Лум.

Ротный распорядился держать пленного и ночью отправить в тыл с конвоирами интендантского обоза. Наблюдение было поручено нашему взводу. Немец просидел молча целый день среди наших ребят и обедал с ними. Его особенно не стерегли, — он доказал, что не намерен бежать. Да и куда ему тут бежать? Однако, когда все разделись, то заставили до-нага раздеться и его. И вот он сидел все еще испуганный, молчаливый и смотрел теперь на нас с Лум-Лумом заискивающими глазами.

— Смешно! Я впервые вижу голого немца! — кричал Лум-Лум. — Подохнуть можно! Ты подумай, Самовар! Парень скинул каску и шинель и стал похож на своего! Ну, кто теперь скажет, что он — неприятель? Подумать только, что я при-

ехал из Африки специально за тем, чтобы такого убить?! Ой, парни, я лопну!..

Лум-Лум подсел к пленнику и, хлопая его по голой спине, стал совать ему в рот горлышко баклаги.

— Пей, бош, пей! — кричал он. — Погоди, я тоже разденусь! Погоди!

Он быстро скинул шинель, обмундирование, белье и сел рядом с пленником. Теперь они сидели оба голые и пили вино из одной баклаги. Немец держал себя робко, но после нескольких добрых глотков он обнял голого француза, у него закатились по-пьяному глаза, он стал что-то бормотать и заплакал.

Лум-Лум, напротив, пришел в боевое, веселое состояние.

Безумье — в бабьи страсти
Запутывать себя!
Солдат! Коль хочешь счастья,
Люби всегда шутя!

Однако веселье попало на старые дрожжи. Вскоре Лум-Лум заплакал пьяными слезами и забормотал что-то по-арабски.

Взвод ржал от удовольствия, как табун лошадей.

— Да возлягут козлища со львами, — процитировал Мочевой Пузырь.

Его перебил Миллэ:

— И болваны с дураками... Ничего смешного тут нет! И за такие фамильяр-

ности с Бланшара надо содрать нашивку первого класса, — угрюмо прибавил он. Он все время держался в стороне; он один не принимал участия в общем весельи.

— Какая нашивка?! — огрызнулся Лум-Лум. — Сейчас я — голый человек. У меня на теле нет нашивок! У меня есть только родимые пятнышки. Ты на них посмотришь, когда я встану! Сейчас я сижу на них!..

Между тем из-за кустов показался артиллерийский фейерверкер.

— Не проходили здесь двое пьяных легионеров? — спросил он.

Мы с Лум-Лумом замерли.

— Мерзавцы коня ранили! — продолжал артиллерист. — Не видали?

Лум-Лум, однако, не растерялся.

— Сержант! — сказал он — Вы не туда попали. Мы — не Легион. Мы — восемнадцатый линейный. А Легион — это вправо возьмите, вон за лесочком.

Мы слушали с изумлением и восторгом, как весело врал Лум-Лум. Артиллерист поверил. Он удалился, продолжая ругаться и ворчать. Когда он стал невидим за деревьями, все прыснули со смеху. Лум-Лум смеялся громче всех. Он катался по земле от хохота.

— Смотрите, парни! — кричал он. — Легионера тоже нельзя узнать, когда он голый! Я-то артиллериста узнал по орде-

ну и нашивкам. Это он дал Самовару пинка! А он нас не узнал, потому что голый человек — не легионер! Об этом стоит подумать...

Лум-Лум был в восторге. Он лежал на спине и, высоко задрав ноги кверху, орал не своим голосом:

— Миллэ! Познакомься с моими пятнышками. Это тебе может пригодиться в жизни!

Платье было кое-как почищено, и все стали одеваться. Стал одеваться и пленник. Тогда минута за минутой начала возникать странная натянутость. Серые штаны немца еще не так сильно отличались от наших голубых. Но сапоги были не как у нас — на шнурках, а с голенищами. Потом он надел куртку. Она у него была длинней наших. Когда, застегнув шинель, он вскинул на голову каску, воцарилось неловкое молчание. При входе в канью его пропустили вперед и угрюмо загнали в самую глубь. Он забился в угол и молчал. Все занялись приготовлением ко сну. У пленного постели не было. Тогда Лум-Лум подкинул ему немного соломы. Немец подобострастно поблагодарил. Потом, когда улеглись, Бейлин предложил ему покурить. У немца был свой табак. Он протянул его Бейлину. Они поменялись табаком. Потом кисет пленного пошел по рукам — всем хотелось попробовать немец-

кого табаку. Явился старший сержант Уркад. Он сделал перекличку, выставил у входа часового и сказал, что, когда прибудет продовольствие, пленного отведут в обоз и сдадут конвоирам. С этим Уркад ушел.

Немец лежал почти вплотную рядом со мной и Лум-Лумом.

— Поговори с ним! — попросил Лум-Лум. — Узнаем, как у них солдаты живут.

Немец с готовностью вступил в беседу. Он сказал, что взят из запаса. Он очень боялся итти ночью в разведку. Его товарища, лежавшего в секрете, недавно убили. При этом ему воткнули его же штык в живот, а на штык надели французское кепи. Кроме того, ему отрезали уши. Говорили, что это дело рук легионеров, что французскую позицию занимают легионеры, и поэтому все боятся.

Лум-Лум, которому я переводил рассказ немца, громко расхохотался.

— Ерунда! — кричал он. — Враки! Таких вещей не бывает! Скажи ему, что это ерунда! Ну зачем легионеру чужие уши? Что у нас своих нет? Объясни ему, Самовар, поскорей, что во французской пехоте каждый солдат снабжен парой ушей, и этого вполне достаточно.

Канья разделяла веселье Лум-Лума. Солдаты ржали. Немец же улыбался криво. Он спросил меня, почему смеются. Я

перевел ему слова Лум-Лума. У немца была грустная улыбка. Не зная, как себя держать, он сказал, что видит, насколько были напрасны его страхи: все здесь очень милые и симпатичные ребята.

Вскоре начали падать снаряды. Первый упал на бивуак.

— И бог един, — проворчал Лум-Лум.

Один за другим упало еще три снаряда.

— Три снаряда упало в кухню, но бог един, — отсчитал Лум-Лум.

Через полминуты упало два снаряда.

— Два снаряда упало возле отхожего места, но бог един, — продолжал отсчитывать Лум-Лум.

Эти первые снаряды оказались, подобно крупным каплям дождя, предвестниками ливня. Ливень разразился через минуту с необычайной силой.

— Погода портится! — заметил Лум-Лум. — Размоет дорогу!

Действительно, огонь был сосредоточен на дороге. Немцы, повидимому, знали, что предстоит доставка провианта. Огонь поливал дорогу всю ночь, как тропический ливень. Под утро опять несколько снарядов упало на наш бивуак.

Когда к рассвету огонь прекратился, мы выглянули наружу и увидели друг друга. Распухшие, землистого цвета лица, полубезумные глаза, дрожащие руки. Каждый видел это на другом, самого себя никто не

чувствовал; какая-то отрешенность овладевала солдатами после таких ночей. В четвертый взвод попало два тяжелых снаряда. Один не разорвался, но задавил двух человек своей тяжестью. Разорвавшийся убил четверых и ранил пятерых. Кухня наполовину разрушена. Несколько деревьев выворочено с корнями.

А день начинался счастливый и улыбающийся. Солнце спешило к нам сквозь легкий утренний туман.

Немец опять застрял. По приказанию капитана, он работал вместе с нами. Он рыл могилы, сваливал туда убитых, нарубил деревьев для заборчика вокруг уборных, починил кухню. Немец оказался трудолюбивым малым. Работа горела у него под руками, но сам он при этом сохранял какой-то виноватый вид.

Шла обычная жизнь роты, находящейся на отдыхе. Мы пили вино, чистили оружие, рассказывали всякие истории и резались в карты.

Пленник сидел в уголке и молча курил. Он обратил внимание на рваные башмаки Франши и вызвался починить их. Он был сапожник.

— Смотри! — сказал мне Лум-Лум. — Совсем как мой Умберто-итальянец. Тот тоже был сапожник.

Поломанный приклад немец обратил в колодку. У кого-то нашлась толстая игла,

и он быстро смастерил из нее шило, дратву он имел при себе. Немец быстро и ловко починил Франши башмаки. Тогда заказы посыпались в изобилии. Пришлось установить очередь. Забитый и испуганный пленник, робко жавшийся в углу, делался нужным человеком.

— Тьфу, чорт!—сказал мне Лум-Лум.— Я не видал таких смешных парней, как сапожники! Если бы был жив этот Умберто, который сделал шлюху из моей бедной Луизы, он был бы теперь в итальянской армии и считался бы моим другом и союзником, этот подлец! А вот тебе Фриц, который починил башмаки всему взводу,— чего мы, заметь, не могли добиться от интендантства, — он считается неприятелем.

Лум-Лум звал немца Фрицем. Так, впрочем, называли немецких солдат во всей французской армии.

— Ай да Фриц! — говорил Лум-Лум.— Ай да бош! Молодчага!

Лум-Лум явно полюбил немца! Он сделался его главным покровителем и защитником. Он доказывал всем, что нельзя пользоваться услугами немца безвозмездно. Он обходил всех заказчиков Фрица и собирал для него табак, водку, белый хлеб.

— Лопай, балда, лопай! Не стесняйся! Эй, ребята! Скажи ему кто-нибудь по-немецки, чтоб он лопал! — кричал Лум-Лум.

Работу стали приносить и из других

взводов. Фриц изрезал старые башмаки, снятые с покойников, и пустил кожу на заплаты и набойки. У капитана тоже оказались сбитые каблуки. Фриц починил их.

Фриц работал без каски и без куртки. Ноги он перекрыл тряпкой, так что не видно было ни его серых немецких брюк, ни сапог.

В канье сидел и работал сапожник.

Когда принесли обед, немец смело стал в очередь вместе с нами. В руках у него оказался котелок: наследство одного из убитых. Когда раздавали добавку, он подставил котелок, не дожидаясь приглашения. После еды он показал, что у него кисет порожний. Ему охотно дали набить трубку, а Лум-Лум обошел наш взвод и третий, откуда тоже приходили заказчики, и вскоре принес Фрицу полный кисет табаку.

— Danke schön, — протянул Фриц, улыбаясь, и засунул кисет в карман. Сделал он это уже безо всякого подобострастия и неловкости. Фриц не чувствовал себя неприятелем, виновником несчастья, которое нас постигло. Сапожник чувствовал себя сапожником.

Но саперы восстановили полевой телефон. Из штаба запросили, почему не присылают пленного. Мы узнали об этом от денщика капитана.

— Понимаете, ребята? — сказал он. —

После этой ночной музыки он там особенно нужен, этот Фриц! У него попытаются узнать, что и как.

— Ну да! Мы уже сами тут подкатывались к нему! Он ничего не знает, — сказал Лум-Лум.

Денщик назвал Лум-Лума стратегом отхожих мест и, смеясь, ушел. Фриц не знал, что речь шла о нем. Он работал.

Отправить Фрица в штаб все же не пришлось. Когда оттуда стали звонить слишком настойчиво, капитан резко ответил, что у него не конвойная команда, а боевая рота, что с него достаточно потери одного Карбору. Жертвовать солдатами для конвоирования сапожников он не будет, даже если этого потребует сам Жоффр! Пускай придут за немцем те, кому он нужен, а легионерам сворачивать себе по пустякам шеи он не позволит. Порешили, что придет артиллерист и поведет пленного прямо на наблюдательный пункт, чтобы он давал указания оттуда. Артиллерист не пришел. Впоследствии мы узнали, что первый вышедший был ранен, двое других убиты: дорога была у немцев на виду, они били без промаха. Пришлось опять отложить отправку Фрица до наступления темноты.

Но едва начало вечереть, огненный ураган возобновился.

Теперь стреляли обе стороны. Это была

артиллерийская дуэль, одна из бесконечных дуэлей на Эне. Два встречных потока огня лились через наши головы. Стреляли десятки скорострельных батарей. Гул выстрелов, свист полетов и грохот разрывов смешивались в тяжелый вой. Небо всю ночь было красно от потоков огня. Снаряды падали в батарею позади нас. У нас во взводе потерь не было, если не считать, что Штейнберг и Карбуччио сошли с ума. Штейнберг забился к себе в угол, разобрал винтовку, почистил ее, сложил, зарядил, а затем с криком «ура» стал стрелять в соседей. К счастью пули попали в стенку и в потолок. Помешался и повар Карбуччио. Утром я застал его на кухне голым. Он плясал в луже разлитого кофе.

В этот день стрельба не кончилась с рассветом, как это было накануне. Хотя линия обстрела сократилась, но огонь все более и более сосредоточивался на участке соседнего 18-го полка, состоявшего из басков. Это предвещало атаку. Наш бивуак от 18-го полка отделялся небольшим леском. Лесок тоже попал под обстрел. Становилось ясно, что неприятель имеет в виду отрезать 18-му полку отступление и лишить его возможности получить нашу поддержку. Внезапно артиллерия смолкла. Через минуту-две заклокотали пулеметы, затрещали ружейные выстрелы. Началась

атака. Еще через несколько минут стрельба прекратилась. До нас донеслось щемящее и торжественное пение. Пели французские солдаты. Они встречали атаку гимном.

— Легион! — воскликнул Лум-Лум. — Легион! Наши уважаемые соседи и сотрудники сошли с ума.

Затем он сам запел уличную парижскую песенку с припевом:

И морды все себе ломают
Под звуки марсельезы.
Вот почему республиканец я!

Пение в 18-м полку было смято. Дело пошло, видимо, в рукопашную. Протяжный многоголосый вой шел из-за лесочка.

Сержанты принесли распоряжение командира приготовиться к выступлению. Мы стали поспешно собирать вещи в ранцы и вышли из каньи.

Ружья мы составили в козлы и молча ждали свистка. Мы стояли, подавленные собственным молчанием. Внезапно между деревьев показался какой-то немецкий гвардеец. Держа два штыка в руках, он бежал, преследуемый баском из 18-го полка. Его глаза были почти совершенно зажмурены, протяжный хрип шел из его рта.

— Смотри, — шепнул мне Лум-Лум. — Немец прорвался! Будет мой!

Он быстро извлек из козел свою винтовку, но не успел еще вскинуть ее к плечу, как немец упал, настигнутый прикладом баска. Молча бросился на него баск. Мы видели, как он рвал, бил и тряс уже бездыханный и залитый кровью труп.

— Эй ты, южанин! — крикнул ему Лум-Лум. — Довольно! Оставь немного на завтра.

Но баск ничего не слышал. Он обхватил обеими руками труп с раскроенным надвое черепом и катался с ним по земле.

Лум-Лум и Бейлин с трудом его оторвали. Баск яростно отбивался ногами, хрипел и кричал: «О, моя мать! О, моя мать!»

Он не сумел выпить глоток вина, который я предложил ему: руки у него тряслись, зубы стучали о края кружки. Лум-Луму пришлось взять его голову обеими руками, и лишь тогда я смог влить ему вино в рот.

— Да! — сказал он, немного успокоившись. — У нас жарко в восемнадцатом! Все оружие перепортили. Парни уже ломают немцам головы банками консервов.

Его руки, лицо и шинель были испачканы кровью. От него шел тяжелый запах.

О своем немце среди всех событий этого утра мы как-то забыли. Он сидел в канье и, угрюмо насупившись, работал, когда сержант пришел звать нас наружу. Мы

просто забыли подумать о нем. Каждый считал, что о нем подумает начальство.

Фриц сам показался на площадке. Напрасно! Баск первый заметил его.

— Постойте! — воскликнул он. — Что это? Пехота, я схожу с ума!

Фриц стоял у порога каньи в полной форме, в шинели и каске и обводил нас растерянными глазами.

— Что это за немец? — кричал бородатый баск. — Откуда немец? Почему здесь немцы?

Баск рванулся вперед, и мы с трудом удержали его.

— Это свой! — сказал кто-то. — Это наш Фриц, пленный!

Фрицем овладел страх — грубый, подлый страх. Фриц метался по полянке. Он побежал к леску и, не решаясь скрыться вглубь, стал петлять между низкорослыми кустами орешника. Его страх раздражал нас. Жиру внезапно схватил из козел винтовку и вскинул ее к плечу. Берли и Колар взялись за ручные гранаты. Впрочем, вряд ли они имели в виду убить Фрица. Им доставляло наслаждение дразнить его.

Фриц спрятался за деревом.

Я не успел заметить, как пустился к Фрицу Лум-Лум. Шинель Лум-Лума развевалась. Я видел, как Фриц, выскочив из-за кустов, стоял бледный, совершенно бледный, с застывшими глазами. Он не

видел ничего. Когда Лум-Лум подбежал к нему с винтовкой в руках, Фриц бросился на дерево. Он крепко ухватился за широкую ветвь и забросил вверх левую ногу. В эту минуту взлетела в воздухе винтовка Лум-Лума. Он держал ее за ствол и прикладом расплющил Фрицу голову. Немец грузно свалился наземь.

— Легионеры!

Капитан появился на пороге своей каньи. Он застегивал перчатку на правой руке.

— Легионеры! Трава не должна расти там, где прошел Легион! Взводными колоннами стройся!

Раздались свистки, короткая команда, стук оружия, хлопанье ремней, звяканье котелков. Первый взвод, колыхаясь, тронулся по узкой тропинке к участку басков. За ним выступили второй и третий. Затем снялся и наш, четвертый взвод. Баск присоединился к нам. Лум-Лум вытирал о траву окровавленный приклад, но быстро догнал нас и занял свое место в строю рядом со мной.

— Вот он и кончил войну, этот смешной тип! — сказал он, пройдя несколько шагов.

ВОПРОСЫ ЧЕСТИ

Сержант Борегар лежал в капье на соломе, на своем обычном месте, рядом с моим, почти у самого входа. Его кепи было низко надвинуто на глаза. Рэнэ читал вслух и переводил взводу письмо сержанта к графине Марии-Терезе фон-Эрлантенбург. Сержант не слушал чтения: он был мертв.

Вот как это случилось.

Утром на бивуак упал снаряд. В лесочке под деревушкой Ульш, на дороге де-Дам, между Суассоном и Реймсом, мы еще ни разу не подвергались обстрелу. Снаряд был случайный.

— Откуда ты, птичка? — промычал Лум-Лум, когда снаряд разорвался.

— Не иначе как в кухню бахнуло! — заметил Мочевой Пузырь.

— Детки! — сказал Лум-Лум. — Эти злые-злые соседи, которые живут напротив, поломали нашу кухонку. Сегодня дома обеда не готовят. Вы пойдете к бабушке.

После небольшой паузы он прибавил:

— Я хотел сказать — к чортовой бабушке. Ведите себя там прилично.

У порога каньи показался помощник повара, рябой турок Джафар, по прозванию Джафар-дурачок.

— Эй, вы! — крикнул он. — Вы — шутники, четвертый взвод! Вы ждете, чтобы горничная в переднике принесла вам сливки к кофе? Идите живо, уберите вашего сержанта! Он сломал трубку!

— Сержант Борегар? Где он?

«Длинный сержант», как мы его звали между собой, вышедший зачем-то из каньи, действительно долго не возвращался. Я выглянул. Борегар лежал в двух шагах от входа. Он лежал в грязи и был такого же цвета, как она. Вокруг стояла лужа крови.

Джафар забросил к нам мешок картошки, который он тащил на спине, — все, что осталось в разрушенной кухне, — и мы с ним вдвоем внесли Борегара в канью. Я держал сержанта за плечи, Джафар — за ноги.

— Тяжелый он, однако, этот прия-

тель! — сказал Джафар.— Подумать только, что я его второй раз выволакиваю из огня...

— На этот раз, повар, ты подаешь его без потрохов! — заметил Лум-Лум.

У сержанта был вырван живот. Случайный снаряд сделал свое дело.

Борегара положили на место, закрыли ему глаза, сложили руки, стерли грязь с лица, накрыли шинелью. Потом сидели и молчали. Погода стояла паршивая. Всю ночь шел дождь. Мы пришли сюда ночью на отдых, — здесь была наша вторая линия. У людей было на уме постирать белье, переодеться, погреться на солнце. А тут дождь! Почву сразу размыло, ходить стало тяжело, мы еле добрались сюда. Часовые возвращались ночью мокрые до кости и за место у жаровни чуть не дрались. Отдых был испорчен. А тут еще Борегара убило! Было грустно.

Оказывается, мы его любили, этого Борегара. Правда, он ни с кем не был близок в роте. Правда, создавалось иногда впечатление, будто он смотрит на всех нас свысока. Но он никогда ни на кого не кричал. Он не только не придирался, но даже умел относиться к солдату внимательно и снисходительно. Однажды во время длительного перехода он увидел, что Рабиновичу тяжело, и сам понес его ранец. Никакой сержант не сделал бы этого.

Мы любили Борегара. Это сделалось очевидно, когда живой Борегар обратился в покойника, забрызганного грязью.

— Кто пойдет сообщить в канцелярию? — спросил Бейлин.

— Надо у него документы взять! — сказал Лум-Лум.

Джафар снял у Борегара с груди кожаный мешочек. В мешочке лежала алюминиевая пластинка с матрикулярным номером, воинская книжка и письмо в конверте, завернутом в бумагу. На бумаге было написано: «Отправить по адресу после моей смерти». Письмо было адресовано в Дармштадт, графине Марии-Терезе фон-Эрлангенбург. Конверт был плохо запечатан. Джафар извлек письмо.

— Ребята, кто прочитает?

Письмо читал и переводил Рэнэ. Потом оно попало ко мне. Вот оно:

«Вторник, 18 октября 1908 г.

«Графиня!

«Сегодня выстрелом из револьвера я положил некоторый предел страданиям, бремя которых нес десять лет».

Здесь Джафар вставил первую реплику.

— Всего десять лет прицеливался и уже попал! — заметил он.

На Джафара зашикали, и он умолк.

Рэнэ продолжал:

«Осенью 1898 года, то есть десять лет тому назад, Вы, по моему расчету, должны

были получить от германского консула в Сиднее извещение о том, что Фридрих-Иоганн-Лоренц-Альберт граф фон-Эрлангенбург скончался от тропической лихорадки на корабле «Веста», и тело его погребено согласно морским обычаям, то есть брошено в море. Я подробно описал Вам тогда же, как мне удалось устроить эту маленькую мистификацию.

«15 мая 1898 года, то есть ровно через два дня после объяснения, которое произошло между нами, я поступил матросом на грузовой пароход в Киле.

«По пути в Сидней на корабле скончался матрос, бездомный бродяга. У берегов Тасамании мы бросили его труп в море. Документы покойного подлежали передаче консулу его страны. Младший помощник капитана отдал их мне взамен на мои и согласился за бутылку рома сделать подчистку в судовой роли. Матрос Борегар стал продолжать свою жизнь в моем лице.

«Я опускаю семь лет. Они протекли под разными широтами. Борегар плавал на торговых кораблях из Сиднея в Соутгемптон, на невольничьих шхунах из Джибутти в Эль-Иемен, на фелюгах контрабандистов из Трапезунда в Батум».

— Все мы бродим по дорогам мира и ищем счастья. А в чем оно, рюско? — опять перебил Джафар, обращаясь ко мне.

Но Бейлин замахнулся на него сапогом, и Джафар опять умолк.

Рэнэ продолжал:

«Однажды в Сингапуре я как-то издали увидел группу офицеров германского военного флота. Встреча повторилась в порту императора Александра III. Я понял, что не застрахован от неприятных неожиданностей, и ушел в Иностранный легион. Для людей чести, которые хотят похоронить свое прошлое, нет лучшего кладбища, чем Легион, его суровая дисциплина военной каторги и его жизнь, исполненная трудностей, лишений и военных опасностей. Я пришел сюда в поисках смерти или успокоения».

Чтение перебил Лум-Лум.

— Ладно! — сказал он скучающим тоном. — Неинтересно! Сами знаем, зачем люди приходят в Легион! Довольно!

В канье было несколько солдат, прибывших к нам из основного полка, из Африки. Как дубы, возвышались над нами, волонтерами военного времени, старики Легиона — Лум-Лум, Адриен, Миллэ, Катуар и даже Джафар, недавно прибывший с командой пополнения. На их куртках висели ордена и медали. Эти люди проделали походы на озеро Чад, они дрались в Конго, они бились на Мадагаскаре, они сражались на Гваделупе, они устрашали Индо-Китай и усмиряли Алжир, Марокко и Тунис. Кто

были эти люди? В результате каких крушений взялся каждый из них за ремесло наемного солдата? Один Джафар был болтлив. Он знал несколько языков и любил щеголять русской матерщиной. Он говорил, что изучил ее в одесской тюрьме. Джафар говорил, что попал туда после какого-то сложного приключения в трактире «Медведь» на Полицейской улице. Но больше мы ничего не знали и о нем.

Старикам письмо Борегара, повидимому, не казалось особо интересным. Катуар и Миллэ тоже были за то, чтобы чтение прекратить. Но наша группа настояла на своем, и чтение продолжалось.

«Событие, произошедшее сегодня утром в гарнизоне Сиди-бель-Абесса,— читал Рэнэ,—принесло мне успокоение. Буду краток.

«В форт Аман-Ислам, где стояла моя рота, одно время прибывали из штаба полка казенные пакеты, написанные мучительно знакомым почерком. Воображение стало подсказывать мне всякие нелепости, но я их гнал от себя. Случайно я узнал, что почерк принадлежал новому сержант-мажору Планьоли. Через три месяца, захватив полковую кассу, сержант-мажор исчез.

«Тогда же стали говорить, что Планьоли был немец, аристократ и что итальянская фамилия была вымышленной. Что-то неизъяснимое встревожило меня.

«Поступили сведения, что Планьоли бежал к туарегам и организует их для налетов на наши форты и обозы. Я пропускаю перипетии погони и стычки. Скажу только, что мы встретились с Планьоли один-на-один».

— Ах, чорт! — воскликнул Джафар.— Да ведь и я там был! Помнишь, Лум-Лум? Ты тоже был ранен тогда! Борегар вложил этому молодчику Планьоли штык в живот, как в ножны, а Планьоли поместил в него шесть пуль, как на призовой стрельбе. Я его унес без дыхания!

— Не мешай! — кричали ему с разных сторон. — Читай, Рэнэ, дальше.

«Графиня! Когда я поднял глаза, чтобы взглянуть на лицо человека, в чьих ребрах торчал мой штык, я узнал Энгельберта фон-Виллерштейна.

«Я надеюсь, графиня, что это имя памятно Вам не менее, чем мне».

В глубине каньи, в правом углу началось тяжелое и нетерпеливое ворчанье. Там помещался испанец Хозэ Айала, по прозванию Карменсита. В Сарагоссе Хозэ был монахом. Он поссорился с настоятелем из-за женщины, по его словам. Чтобы надосадить настоятелю, он пустил в храме ракету во время богослужения. Хозэ носил еще при себе наваху, которая расчистила ему дорогу до Парижа. Он пробирался в великий город, чтобы, как он говорил, по-

вести отсюда большую борьбу с настоятелем. Но вспыхнула война, и Хозэ попал в Легион.

Письмо Борегара страшно взволновало его: в дело была замешана женщина, к тому же графиня!

— Читай, Рэнэ! Читай скорей, — понукал Хозэ нашего переводчика.

«Мне пришлось провести несколько месяцев в лазарете, — продолжал Рэнэ. — В соседней палате лежал раненый фон-Виллерштейн. Мы не встретились ни разу. Но днем и ночью, во сне и наяву, о чем бы я ни думал, что бы я ни делал, я видел перед собою только это проклятое утро, когда Энгельберт тайком пробирался через парк к боковой калитке, а Вы провожали его долгим взглядом из окна. Я понял тогда сразу, кто была эта перезрелая светская дама, на утомительную связь с которой Энгельберт жаловался всем товарищам, несмотря на то, что, по его словам, эта дама осыпала его драгоценными подарками. А на другой день эта несчастная история с кольцом! Вы это прекрасно придумали, мама! Единственный человек на свете, который должен был молча снести Ваши обвинения, был я. Ибо я не мог сказать отцу, что моя мать взяла любовника, что она выбрала для этой роли товарища моих детских игр и что она оплачивает его услуги фамильными драгоценностями.

«Я не мог сказать ему этого. Я ушел из дому. Я ушел из жизни, из нашей жизни и, главным образом, из Вашей...»

Отношение аудитории к исповеди аристократа раскололось. Старикам сделалось явно скучно от этой семейной мелодрамы. Страдания Борегара не были им понятны. Карменсита тоже был разочарован.

— Как?! — воскликнул он. — Мать? Я думал, женщина!..

Но в канье была и другая публика, люди менее жарких страстей. Было пять-шесть евреев-портняжек, выходцев из румынских гетто и российских местечек. Они бежали в свое время от солдатчины, от нужды, от погромов. В Париже, в кварталах Бастилии и Тампль, они шили жилеты и брюки. И вот, в один душный июльский день распоролось все их шитье. Это было в тот день, когда слово «война» забегало по улицам и площадям Парижа. Война смыла их и унесла. Нас, студентов, было человек пять — молодых юристов, философов, химиков. Подхваченные волной наивного идеализма, мы сменили перья на штыки и диссертации на подсумки. Был один люксембуржец — приказчик из галантерейного магазина на бульваре Сен-Мишель. Он торговал галстуками. Но его клиенты перестали носить галстуки, и он пошел сражаться за Францию. В канье жили еще и человек пять итальянцев из Пьемонта и

Ломбардии. Они мостили улицы Парижа в тот день, когда газетчики забегали по этим улицам с криком: «Война!» Каменотесам больше нечего было делать в Париже. Им больше нечего было делать, как переменить инструмент и взять в руки ружья вместо молотков.

Война была великим приключением. Она поместила в нашу канью самых разнообразных людей. Мы хотели слушать до конца.

«Вчера вечером меня вызвал адъютант полка, — читал Рэнэ. — Истекал срок ожидания помилования от президента республики, и командир полка назначил расстрел Планьоли на утро.

«— Сержант Борегар, — сказал адъютант. — Ваш полувзвод! Вы заслужили эту честь.

«Энгельберт трусливо плакал и извивался, когда его вели к столбу. Колени дрожали у него, когда его поставили на место. Он допустил, чтобы ему завязали глаза. Увы, по должности, мне самому пришлось сделать это. Он умолял меня, чтобы я оставил ему жизнь. В минуту, когда лейтенант поднял шпагу, чтобы скомандовать залп, конный ординарец подал командиру полка, пожелавшему присутствовать при казни, срочную телеграмму из Парижа.

«Не скрою от Вас, я задрожал при мысли, что это могло быть помилование. Ко-

мандир положил телеграмму в карман, не читая. Лейтенант опустил шпагу. Как я и рассчитывал, Энгельберт упал тотчас же после залпа, хотя он не был ранен. Дело в том, что ни в моем положении, ни в положении Энгельберта фон-Виллерштейна люди больше не дерутся на дуэли. Но я не хотел все же, чтобы последние расчеты между нами подвел бы этот сброд, именуемый Легионом. Заряжая ружья своих двенадцати солдат, я положил всем холостые патроны. Энгельберт упал от испуга. По французскому уставу, на мне, как на дежурном унтер-офицере, лежала обязанность добить его выстрелом из револьвера. У французов это называется coup de grace — «выстрелом милосердия». Я благодарю бога мести, владыку страданий и радостей человеческих за эту минуту. Она была единственной счастливой за целые десять лет жизни.

«Вам, пожалуй, будет интересно узнать, что телеграмма, поданная полковнику на месте казни, действительно содержала помилование. Бог послал твердое сердце нашему командиру.

«Благоволите принять, графиня, уверение в самых высоких и почтительных чувствах Вашего преданного сына Фридриха - Иоганна - Лоренца - Альберта графа фон-Эрлангенбург, умершего в звании сер-

жанта 2-го полка Иностранного легиона под именем Анри Борегара».

Лум-Лум сидел молча, насупившись. Миллэ пыхтел своей громадной трубкой. Катуар и Адриен, закрыв глаза, слушали внимательно. Но Джафар не мог сидеть спокойно. Он щелкал языком, хлопал себя по коленям и хихикал. Джафар-дурачок носил свое прозвище недаром.

— В общем выходит, он был несчастный человек, этот граф! — сказал я, когда чтение было окончено.

Отозвался Джафар:

— Несчастный? Ты сказал — несчастный? Если бы я имел мула, то я хотел бы, чтобы он был умней тебя, Самовар! Хотя ты, говорят, доктор наук!

Джафар помолчал, чтобы дать мне ответить на его колкость, но мне не хотелось вступать с ним в ссору.

— Вот еще один тип, которого загнала к нам эта их семейная честь! — сказал Катуар.

В канье опять стало тихо. Только картошка хрустела и чавкала в руках Джафара. Турок сидел на моем ранце, рядом с трупом Борегара, и деловито чистил картошку. Чищеную он сбрасывал на постель, а шелуха падала из-под его ловких рук к нему на колени, перекрытые мешковиной.

— Ребята! — начал он вдруг своим па-

ясничающим тоном, не повышая голоса. — В Сан-Франциско, в порту, я как-то разлучил один саквояж с одним пассажиром. Джентльмен погнался за мной. Он хотел посмотреть, как у нас в Диарбекире дерутся ногами. Я показал ему. Он так удивился, так удивился, что сразу упал без чувств. В саквояже оказались какие-то семейные фотографии и зубная щетка. Это было не самое главное, чего мне нехватало в жизни. Но саквояж был облеплен марками всех отелей мира. Тип попутешествовал в жизни. Он-таки видел свет. Так вот, когда я сидел за этот саквояж в тюрьме, я както подумал: «Джафар! — подумал я. — О, Джафар моих глаз! У тебя в жизни не было зубной щетки, ни фотографий твоей семьи, ни саквояжа! Но если бы в тюрьмах тоже наклеивали ярлычки на вещи, как в отелях, мой милый Джафар, ты тоже мог бы сказать, что много путешествовал и видел свет».

— Не тяни макароны, старик! — буркнул Лум-Лум.

Кусочек картофельной шелухи упал на Борегара. Я подобрал и выбросил. Это почему-то привело Джафара в бешенство.

— Боишься за его честь? За честь его фамилии? — злобно воскликнул он.

У Джафара на рябом лице, там, где у других бывают глаза, были щелки, и в этих щелках сидела пара мышей. Сейчас,

испуганные вспышкой Джафара, мыши бегали взад и вперед. Джафар неожиданно стал все больше и больше распаляться.

— За первого барана, которого я украл, меня били! — уже кричал он. — Барана отобрали. За второго — бросили в яму. Барана опять отобрали. Что это у них за манера отбирать баранов? Родители сидели голодные. Продали сестренку одному джентльмену из Каира, и он надул нас! Он не заплатил, и мы остались опять бедные. Тогда никто не боялся говорить, что мы не имеем чести: сын вор и дочь шлюха!!!

Джафар держал в левой руке тряпку с картофельной шелухой, а в правой кухонный нож. Лицо Джафара шло пятнами.

— Я стал им вспарывать животы! Я хотел видеть, что у них там делается. Но я не находил ничего, кроме вонючей требухи, которая хочет, чтобы ее набивали пищей. Что же значат тогда зубные щетки, честь и фотографии?

Он размахивал руками и мотал головой, этот рябой паяц Джафар-дурачок. Он кривлялся, визжал и гримасничал.

— Честь! Честь! — кричал он. — Ты хочешь заставить меня смеяться, старый Катуар, шутник ты этакий! Когда кому из нас оторвет башку, то пишут: «погиб на поле чести». А вся честь была в том, что-

бы выгребать для них каштаны из огня! За одно су в день!..

Джафар вытряхнул на покойника картофельную шелуху и вышел. Бейлин стал стряхивать мусор с шинели Борегара. Рэнэ отправился в канцелярию сообщить о гибели сержанта. Мы с Лум-Лумом стали собирать картошку в мешок.

— Он, однако, умеет говорить, этот Джафар! — заметил Лум-Лум. — Будь он грамотный, он мог бы выйти в полковые писаря.

НЕУДАЧА ЭМИЛЯ ВАН-ДЕН-БЕРГЭ

Моего предшественника по должности ротного ординарца звали «герцог Никита», хотя он был нищий черногорский крестьянин. Мы похоронили его без головы после того, как он однажды поехал в Верзенэ за вином, — его разорвало снарядом. Мы с Эмилем унаследовали вещи герцога Никиты — котелок, башмаки, штаны и ружейную мазь и подружились еще тесней.

Все время, что батальон стоял под Реймсом, у форта Бримон, мы спали с Эмилем рядом.

Эмиль Ван-ден-Бергэ был фламандец, худощавый, хилый на вид, белобрысый парень лет двадцати четырех. Я не помню, когда и где именно он попал в роту, ка-

жется у Гэртэбиз. У него были бесцветные и добрые глаза, он был смешлив, и хриплый смех клокотал у него в горле. Ван-ден-Бергэ любил рассказывать всякие истории про свою жизнь, но его никто не слушал, — истории были скучные. Он рассказывал или про то, как в Намюре он надул мастера и ушел с работы на час раньше, или как в Фюрте он ухаживал за одной кухаркой, но она не могла кормить его обедами с хозяйского стола, потому что хозяйка была прижимистая, и он кухарку бросил.

— Закрой! — кричали ему со всех сторон.

Однажды Эмиль рассказал мне, что из Фландрии его выгнала нужда, безработица.

— Понимаешь?! — сказал он. — Это смешно, можно лопнуть! Только бездельники имели у нас работу, а рабочие сновали по всей стране, сложа руки. Это смешно! У нас был сын хозяина. Его тоже звали Эмилем, как меня, Эмиль Ван-де-Мээр. Мы росли вместе. Так я тебе скажу — ты слышишь, Самовар? — я тебе клянусь страданиями Иисуса Христа, что этот Эмиль Ван-де-Мээр знал не больше ремесел, чем яловая корова. И вот именно он бывал занят по целым дням. То он играл в мяч руками, то играл в мяч ногами, то он играл в мяч на площадке, то он играл в бассейне и тоже в мяч. Целый день у

парня времени не было отдохнуть, у этого бездельника. А я, понимаешь, я — столяр и плотник, и я понимаю по штукатурной части, и умею чинить обувь, я все умею делать, и вот я ходил по Фландрии свободный, как бешеная собака, и не знал, куда себя девать. Я нахожу, что это смешно, Самовар. Не так ли?

Безработица выгнала его из Бельгии во Францию. Здесь он нашел работу в шахтах близ Лилля. Однако война вспыхнула раньше, чем он успел себе заработать на пару штанов. Эмиль ушел в солдаты и, как иностранец, попал в Легион.

— Что же ты, собственно, сделал? — вставил Бейлин, отличавшийся уменьем задавать ядовитые вопросы. — Что ты сделал? У бельгийского хозяина ты сидел без хлеба, у французского ты ходил без штанов. И вот ты пришел сюда, чтобы немецкий стрелок продырявил тебе шкуру?

Эмиль оскалил зеленые зубы и засмеялся.

— Ну, уж скажешь! Все вы, русские...

— Что — все мы?..

— Хотя, конечно, это смешно... Не так ли, Самовар, — он говорит смешно, твой Бэлэн?

Вечером дежурные, ходившие за обедом, разнесли слух, что к нам назначен новый ротный командир. Ночью в окопе появилась сухая и плоская фигура в офицерской

шинели. Новый капитан обошел бойницы, проверил посты. Эмиль Ван-ден-Бергэ дремал, стоя с ружьем в руках. Эта ночь была шестой, которую мы проводили под дождем и без сна... Капитан ударил Эмиля рукояткой револьвера под подбородок и, не произнося ни звука, пошел дальше. Через пять минут нас сменили, и мы с Эмилем заползли к себе в канью. Я не видел лица Эмиля, — было темно. Но голос его дрожал. У него, видимо, тряслись руки: он выронил винтовку.

Он долго не мог говорить. У него стучали зубы. Прошло несколько минут, раньше чем он обрел дар речи. Тогда посыпались непрерывным потоком самые отборные ругательства на фламандском и французском языках. Эмиль ругал капитана.

Мне это мешало спать, я просил его отложить на завтра, но Эмиль не унимался. Он говорил, что принес свою шкуру в жертву Франции не для того, чтобы Франция же стучала ему в морду, как в ящик.

— Посмотрите утром на мой штык! — кричал он. — Скоро он будет лежать у капитана в кишках! И я наделаю на штыке зазубрин и намотаю на них кишки капитана и буду его волочить по траншеям за кишки. Это так же верно, как то, что меня крестили в церкви святого Медара в Брюгге.

Через два часа другой батальон сменил нас в окопе первой линии. Мы ушли на отдых в лесок в полутора километрах. Утром нас построили на рапорт. Уркад читал обычную хронику. Внезапно показался сухопарый капитан с жилистым серым лицом. Он вошел в каре не здороваясь и негромко сказал:

— Ночью разбудил одного. Следующего застрелю.

Губы еле шевелились, усики чуть-чуть подергивались. Он повернулся на каблуках и ушел.

Даже Уркад был подавлен. Он скомандовал «вольно», и мы разошлись. Лум-Лум прислонился к дереву и стал расчесывать бакенбарды. Это было признаком волнения.

— Ах, мои деточки! — ворчал он. — Я его знаю, этого коко. Это грязный коко! Он нам покажет горький хлеб! Это — Персье!.. Из зуавов...

Вокруг Лум-Лума стали собираться. Эмиль подошел ближе всех.

— Понимаете, мои волчата, — говорил Лум-Лум. — Однажды климат испортился под Абу-Регрегом. Иначе говоря, кабиллам надоела Франция, ее купцы, солдаты и резидент и даже девочки, после которых отгнивают носы. И кабиллы пошли ломать посуду...

Лум-Лум рассказал, как на усмирение

восстания был послан батальон нашего полка и рота зуавов. В каком-то оазисе зуавы купались, не выставив сторожевого охранения. Офицер считал это лишней предосторожностью. Солдат перестреляли в воде конные кабиллы. Они появились неизвестно откуда и исчезли раньше, чем подоспевшие легионеры успели организовать преследование...

— Нам только осталось закопать битое мясо, — сказал Лум-Лум. Он все расчесывал и снова спутывал свои бакенбарды.

В отдалении показался новый капитан.

— Вот он! — пробормотал Лум-Лум. — Вот, любуйтесь! Его тогда выкинули из зуавов и назначили к нам, в Легион, на дешевое мясо.

Капитан скрылся за деревьями.

— А вы заметили, ребята, он носит красные шаровары и красное кепи? — сказал Эмиль. — Почему он не надевает защитного? А?

— Вероятно, теперь храбрость показывает?! — сказал Лум-Лум.

Эмиль пробормотал:

— Может, он по своим зуавам скучает? А если мы ему поможем? А? А если во время атаки...

— Я не люблю таких моралистов, как ты, фламандец! — смеясь, сказал Лум-Лум. — Все вы, милый, мерзавцы. Все вы хотели бы воевать в женских монастырях

и чтобы ротами легионеров командовали акушерки. Вы бы хотели, чтобы вас кормили бифштексами каждый день и чтобы полковница вытирала вам рот после еды кружевной салфеткой. Вы бы хотели, чтобы в траншеях не было ни грязи, ни вшей, а только веселые девочки. И чтобы на войне вас не убивали, а только вешали вам ордена и ордена. Вот тогда все бы считали, что военное ремесло — лафа.

Сказав это, Лум-Лум отвел Эмиля в сторону и прибавил вполголоса:

— Старик! То, о чем ты думаешь, можно делать, но об этом не следует говорить...

Новый капитан воцарился в роте. В минуты, когда меньше всего можно было ожидать, его плоская фигура вырастала всюду точно из-под земли. Едва начиналась канонада, он выходил смотреть, все ли мы на местах. Когда падал раненый, он не позволял долго им заниматься. Когда связывали и эвакуировали сошедших с ума, он поворачивался на каблуках, не произнося ни слова. Когда он видел на лицах грусть по поводу смерти товарища, он поджимал губы и удалялся. Ни разу он не обратился ни к кому из нас. Он не разговаривал с рядовыми: он сквозь зубы, еле шевеля губами, делал замечания только сержантам. Он находил, что у нас недостаточно военный вид, что мы не легио-

неры, а чорт знает что; что мы не умеем носить шарфы по-африкански, и говорил, что если бы мы в таком виде пришли в Аннам, то половина Сайгона подумала бы, что это странствующие комедианты, а не легионеры.

Да, вид у нас был уже к тому времени неважный. Наши шинели были облеплены глиной, пояса и кушаки пообтрепались, пуговицы поосыпались, обувь поизносилась. Да и самих нас уже тоже поистрепало порядочно. Те, которые уцелели среди безумия недель без сна и под открытым небом, кого не свалили в могилы, не свезли в лазареты и сумасшедшие дома, ходили с распухшими лицами, с полубезумными глазами. Они почти не слышали и не понимали, что им говорят и что они отвечают.

Из каньи капитана Персье сержанты выходили мокрые. В окопах первой линии, под разрывы шрапнели, под грохот снарядов и стоны раненых капитан Персье восстановил дисциплину бель-абесского гарнизона. Придирки и взыскания посыпались на наши головы. Солдаты его возненавидели.

В деревне Кэвр капитан проходил по двору большой фермы, где мы были расквартированы. Из караульного помещения бухнул выстрел. Пуля пролетела над голо-

вой капитана. Она не задела его. Шепнув ему на ухо, она улетела дальше.

Капитан остановился и свистком вызвал начальника команды.

— Ваши солдаты не умеют стрелять. Назначаю вам десять суток ареста.

Он заложил руки в карманы, — петля стэка болталась над его плечом, — и ушел.

— Что ты хочешь, мой маленький?! Это Легион! — сказал мне однажды Лум-Лум, когда моего Эмиля за какую-то мелочь погнали, по требованию Персье, на волчок.

— Будут вольные движения на воздухе! — сказал, улыбаясь, Уркад. — Одевайся, Ван-ден-Бергэ! Полная выкладка!

Он поставил Эмиля в позицию «смирно» и, как полагается в таких случаях, стал скороговоркой командовать:

— Направо! Налево! Направо! Налево! Налево! Налево! Направо! Направо! Направо! Направо!

Эмиль поворачивался быстро, как умел. Вскоре он покраснел. Минут через десять у него налились глаза слезами. Через минут двадцать он с криком и плачем упал наземь.

Лум-Лум делал знаки Уркаду, чтобы он оставил беднягу в покое. Мы с Бейлиным, показывая издали баклаги, жестами приглашали Уркада выпить в расчете, что это заставит его бросить Эмиля. Но в эту

минуту между деревьев показалась плоская фигура с поднятыми плечами. Капитан Персье точно невзначай очутился здесь. Он подошел к Уркаду, потребовал у него спичек, закурил и, возвращая коробок, сказал:

— Чего вы ждете, чтобы окатить этого легионера водой?

Затем он ушел. Уркад поднял Эмиля, поставил его на ноги, но у Ван-ден-Бергэ был до того страшный вид, что сержант скомандовал:

— Унеси свое мясо! — и Эмиль медленно поплелся в канью.

Он неделю ходил, как помешанный, плакал, не спал, не ел.

Вскоре все в роте знали, что Эмиль Ван-ден-Бергэ заколет капитана при первом удобном случае.

Поле между нашим и немецким окопом было сплошь завалено трупами. Война хорошенько нажралась в этих местах, объедки пролежали неубранные в течение целой осени и зимы. Вповалку лежали и немцы и французы. Их обливали дожди и сушили ветры. Мы сжились с трупами. По ночам, в разведке, мы ползали между убитых, как среди своих. Мы с ними обменивались вещами — мелким солдатским барахлом — котелками, кушаками, ранцами, оружием... У вюртембергских гвардейцев мы срезали пуговицы с шинелей и вправ-

ляли коронки в алюминиевые кольца, которые выделывали из головок немецких снарядов.

Иные трупы лежали в одиночку, другие — сбившись в кучи. Отдельно валялись руки, ноги, головы. Мы находили и таких, которые умерли от голода и истощения: рядом с ними лежали порожние банки из-под консервов. Видимо, человек был ранен, жил еще, ел, пока было что, и умер, не дождавшись помощи. Все поле было завалено трупами, сколько мог видеть глаз: от дороги де-Дам до Краонны, до мельницы Воклер и фермы Гэртэбиз.

Забытая скирда стояла среди поля, четыре дерева, скрюченных и голых, как солдатское горе, стояли рядом с ней, нескошенные колосья торчали на земле, как плохо бритая щетина, и чем-то это проклятое поле было похоже на распухшее, давно разлагающееся лицо покойника.

Пришла весна.

Весной поле стало зеленеть.

Весной в небе закружились жаворонки.

Весной ветер стал приносить с поля душный запах.

Омар — черное дитя Сенегала, прозванный нами Бени-Буф-Ту за обжорство — Омар пытался пустить слушок, что это воняют трупы немцев, души которых не были пропущены на небо.

В мае привезли известь. По ночам ро-

ты выходили за проволоку, закапывали покойников или засыпали их известью.

Мы с Эмилем лежали в сторожевом охранении. Мы лежали под кустиком, в самой гуще вюртембергского взвода. Эмиль, чтобы расчистить место для меня, хотел оттащить гвардейца за ногу, но нога отделилась от туловища и осталась у Эмиля в руках. Эмиль оттолкнул туловище ногой, и мы легли. Было сыро, земля была влажная. Темная ночь стояла над нами. Рота работала тихо и быстро. Капитан Персье был в поле. Тыча палкой, он показывал санитарам, куда сыпать известь. Он ткнул палкой в Эмиля и сказал:

— Теперь сыпьте на этого!

Эмиль прошептал:

— Пока не надо, господин капитан! Я еще жив!

Персье повернулся и пошел дальше. Он ходил, не сгибаясь, даже когда вспыхивали ракеты. Мы видели его прямой и плоский силуэт. Эмиль шепнул мне:

— Штык ржавеет... Сегодня ночью я хочу заколоть капитана.

— Он сам ищет смерти!—согласился я.

— Он ищет свою, а найдет нашу. Смотри, как они пускают ракеты! Совсем светло на поле, а этот петух не сгибается. Он выдаст нас.

Ракеты действительно взлетали все чаще и чаще. Нас, повидимому, заметили.

Внезапно со стороны Бери-о-Бака послышался звук летящего снаряда. Сверля воздух, снаряд упрямо прокладывал себе дорогу сквозь толщу воздушных верст. И вот он обрушился, как глыба. Точно ударило огромное било.

Издали послышались крики. Потом воцарилась тишина. Вспыхнула ракета, и новый тяжелый снаряд, долго и мучительно приближаясь, упал недалеко от нас и не разорвался. Потом шагах в ста влево разорвалась шрапнель.

— Начинают топить печи! — прошептал неизвестно откуда приползший Лум-Лум. — Будет жарко, друзья!..

Потом разорвался снаряд позади нас.

— Я думаю, мы здесь останемся! — сказал Лум-Лум. — Можно раздеваться, если кто хочет.

Канонада становилась все сильней. Вспыхнула ракета, и мы увидели капитана. Он попрежнему стоял, не сгибаясь.

— Это он накликает на нас пальбу, — шептал Эмиль. — Повторяется история с зуавами. Настает время! Клянусь тебе, Самовар, чистотой пресвятой девы Марии...

И вот упал снаряд, взметнул вихрь земли, камней и гнилого вюртембергского мяса и стих. И тотчас мы увидели, что не стало капитана Персье. Снаряд упал неподалеку от него — его, видимо, убило.

Ван-ден-Бергэ вскочил на ноги и с нечленораздельным криком пустился бежать к тому месту, где упал капитан Персье. Опомнившись, мы с Лум-Лумом бросились за ним. Мы застали его у воронки.

Эмиль руками и ногами рыл землю. Он совершенно обезумел.

— О, господин капитан! — хрипел он. — Господин капитан! О, господин капитан!

Из-под земли показались ноги капитана. Эмилем овладели восторг и ярость. Он откапывал труп своего врага для последнего надругательства, захлебываясь, вздыхая и хрипя.

— Подожди, Лум-Лум! Не лезь! Я сам! Я хочу первый. Не трогай, Самовар! Голова моя! Я хочу штыком, штыком...

И вот показалась голова. Эмиль схватил ее за уши, с силой рванул к себе, потом бросил и вскочил на ноги:

— Где моя винтовка? — закричал он и стал нашаривать в темноте.

Между тем Лум-Лум, послушав грудь, убедился, что капитан дышит.

— Жив! — сказал он. — Можно спасти. Но мне кажется, что твой друг имеет в отношении капитана более серьезные намерения! Не так ли, Самовар?

— Да, кажется... — пробормотал я.

— Ну что ж! Не станем мешать, Самовар! Пойдем! Здесь сыро.

Он оттащил меня в сторону, но вспыхивали ракеты, и я все видел.

Эмиль полз к капитану, держа штык в зубах. Доползши, он бросил штык наземь, схватил капитана за горло и стал возиться с ним и тормошить его. Он хрипел и стонал.

— Сейчас, сейчас, господин капитан! — бормотал он, не нанося ему, однако, удара.

— Ну, в чем дело? — недоумевал Лум-Лум. — Чего он там возится?.. Что это — его первое причастие? Не знаешь?

— Не знаю! — отвечал я.

— Тут нечего видеть, — сказал Лум-Лум через минуту. — Он не умеет. Уйдем отсюда, Самовар! Я не люблю таких братьев.

В эту минуту капитан очнулся. Он открыл глаза и сказал:

— Передайте Уркаду, чтобы он увел роту...

Он сделал попытку приподняться. Эмиль вскочил на ноги и застыл.

— Чего вы ждете, легионер Ван-ден-Бергэ, чтобы исполнить мое приказание?

Он стал подыматься с земли. Мы видели, как Эмиль помогал ему. Он минуту поддержал капитана под локоть. Капитан стоял нетвердо. Эмил дал ему свою винтовку. Опираясь на нее как на палку, Персье выпрямился, вздохнул и зашагал. Эмиль стряхнул землю с его шинели.

— Вы еще здесь?

Эмиль побежал к Уркаду.

— Ну, Самовар, ты дружил с клистирным наконечником, а не с легионером. Это бесспорно! — прошептал Лум-Лум и поспешно удалился.

Когда Уркад уводил роту назад в траншею, мы очутились с Лум-Лумом рядом. Он не переставал ворчать всю дорогу.

— Вот оно приходит и начинает хвалиться: «Я ломаю морду фельдфебелю!», «Я закалываю капитана!», «Я зарезываю командира полка». Оно божится и клянется деревянной рукой капитана Данжу, который погиб в Камеруне. И товарищи верят! А когда настает решительная минута, у них дрожат колени, как у хозяйской дочки, которая в первый раз рожает от пастуха. В Легионе, я тебя предупреждаю, Самовар, слишком много таких братьев... Берегись их!

Никогда мы еще не видали Ван-ден-Бергэ таким, каким он сделался после этой ночи. Он почти перестал понимать, что ему говорили.

Совершенно неожиданно приказом по полку Эмиль был представлен к ордену за спасение ротного командира. Приказ в обычных официальных выражениях отмечал храбрость легионера второго класса Ван-ден-Бергэ Эмиля и его самоотвержен-

ную преданность. На Эмиля нашла черная меланхолия.

Я с трудом уговаривал Лум-Лума не дразнить его. Я отдавал Лум-Луму свою водку, лишь бы он перестал обзывать Эмиля наконечником, смычком от контрабаса, поганой метелкой, богородицей, сортирным сторожем и всякими другими неожиданными словами, которые приходили ему в голову, когда он бывал слишком трезв.

Однажды Эмиль подошел ко мне с каким-то особым выражением лица. Он хотел говорить. Помявшись, он начал:

— Ты понимаешь? Это потому... Ты понимаешь, я католик! Вот что меня путает...

Мы не заметили, что поблизости сидел Лум-Лум. Он оборвал Эмиля:

— Ха! Католик! Он — католик! Да все люди на свете католики! За то, чтобы мы убивали католиков, католики же и платят нам су в день и дают харчи...

— Почему же ты требуешь, чтобы именно я убил капитана? — воскликнул Эмиль с несвойственной ему резкостью. — Убей его сам.

— Если бы я считал, что это нужно, — ответил Лум-Лум, — я бы считал не больше трех и сделал бы. Но мне это не нужно. Вот ты ему враг и не смог его убить... А я говорю — ты слышишь, Самовар? — я говорю — кто не убил врага, тот пре-

даст друга. Запомни это! И бойся, Самовар, таких братьев, которые не умеют убить... Это тебе сказал я, Пьер Бланшар, которого зовут Лум-Лум.

Он ушел. Эмиль больше не возвращался к разговору. Он еще глубже погрузился в меланхолию, еще больше стал отходить от нашей общей жизни. Его состояние делалось все более и более тревожно.

Однако упросить ротного фельдшера, чтобы Эмиля эвакуировали по случаю этого расстройства, мне не удалось: эвакуировали только буйных.

— Еще не поспел! — сказал фельдшер.

Штабные формальности прошли на редкость быстро. Эмиля вызвали в канцелярию и вручили орден на красно-зеленой ленточке и пять франков. Эмиль из канцелярии отправился в деревню и принес десять литров вина.

Мы тогда стояли в Шампани, в Пуйоне, и квартировали в башне разрушенного замка. Разные полки стояли здесь до нас. Они унесли всю мебель, все убранство. Мы жили в голых стенах. Нам достались совиные гнезда, окровавленный бурнус спаги и груды битых бутылок.

Эмиль поставил на нары свои десять литров и с деланным весельем стал позвякивать по ним орденком.

— Пропиваю шкуру капитана! — сказал он, заискивающе глядя на нас и стараясь

скроить улыбку. — Кто желает? Подходи! Шкура капитана Персье!..

Никто, однако, не двигался.

Был послеобеденный час, час покоя. В такие часы старые легионеры иногда расстилали перед нами цветистые и суровые повести своей жизни. Лум-Лум вспоминал пески африканских походов, Делькур рассказывал о своих любовных приключениях в Тонкине; Кюнз описывал, ругаясь и ворча, свои драки в сайгонских кабаках. Мощные страсти возникали перед нами, видения далеких стран носились перед нашими кострами и в хмурой сырости наших укреплений. В этот раз Адриен рассказывал про тошнотворную мулатку, с которой он путался в Гонконге. Было жарко. Легионеры, полураздевшись, лежали на нарах вверх животами, хохотали, переваривали пищу и хотели пить.

— Выпьем! — поддержал я предложение Эмиля.

Однако никто не откликнулся. Ни на Эмиля, ни на его вино никто не хотел обратить никакого внимания. Лум-Лум пытался что-то съязвить насчет того, что вот, мол, одна шкура пропивает другую, но и на это никто не обратил внимания.

Эмиль сидел возле своих бутылок и ждал. Сам он не пил. Его бесцветные глаза были устремлены в одну точку. Товарищи не хотели пить его вино. Это было

последнее, что он понял. Прошла минута. Адриен возобновил рассказ.

Внезапно бутылка взвилась в воздухе и, описав параболу, ударилась о стенку и разбилась. Вторая летела ей вдогонку.

Эмиль стоял посреди помещения, серый, слюна текла у него изо рта. Он рвал на себе куртку левой рукой, а в правой держал литр и размахивал им. Я вырвал у него бутылку. Он повалил меня и, рыча, схватил новую.

— Он все вино разольет! — сказал Кюнз. — Уберите бутылки.

Эмиль метался из стороны в сторону, рыча, хрипя и воя. В какую-то минуту мы перехватили его — Лум-Лум, Бейлин и я, но втроем не могли удержать. Он вырвался и пустился вскачь по постелям. Омар сбил его с ног ударом кулака по голове, но он быстро вскочил снова и, выхватив штык из ножен, пустился на меня с криком:

— Теперь вы не уйдете от меня, господин капитан! О, господин капитан! О, мой добрый господин капитан!..

Мне удалось выскочить в окно, когда штык Эмиля был в двух вершках от меня. Пробегая по двору замка, я еще слышал крики и стоны Эмиля.

Фельдшер играл в карты. Он сразу догадался, что происходит в башне.

— Ван-ден-Вергэ? — спросил он,

— Да!
— Готов?
— Кажется!
— Ну что ж! В добрый час! Связали?
— Не знаю.
— Ладно, пойдем!

Он неспеша раскурил трубку и позвал санитаров.

ТАВЕРНА В ТИЛЕ

I

На участке Тиль-Сильери-Пуйон, в Шампани, расстояние между нашими и немецкими траншеями было не шире обыкновенной городской улицы. Эта близость делала невозможным артиллерийский обстрел. Участок казался сравнительно тихим. Но в окопах и под ними в течение недель и месяцев шла тяжелая, упорная, кропотливая работа: готовили взрыв. В течение круглых суток мы копали сапы, чтобы проникнуть под немецкий окоп и взорвать немцев. Мы работали кирками и лопатами на большой глубине. Мы рыли коридоры и ответвления. Когда же на мгно-

вение работа приостанавливалась, то справа, слева и снизу мы слышали глухой стук таких же кирок и лопат: немцы рыли встречную сапу с коридорами и ответвлениями, чтобы проникнуть под наш окоп и взорвать нас. Работы кротов велись влево и вправо от нас на протяжении многих километров — от Реймса и до леса Зуавов. Их вели лихорадочно, с суровым азартом. И мы и немцы каждую минуту ждали взрыва — кто кого обгонит?

После каждых шести суток, проведенных в окопах, нас на шесть суток уводили на отдых в Тиль. Тиль открывался весь, едва мы выбирались из ходов сообщения. Он лежал мертвый и немой в развалинах и обломках пожара. В нем сохранилось три дома. В одном из них был кабачок.

Стекла вылетели во время артиллерийской пальбы. Крышу снесло. Обнаженные стропила торчали, как кости мертвеца. Длинный стол, два-три стола поменьше, три стареньких плетеных стула и несколько дощатых скамеек — вот его убранство. Но солдаты приходили в этот дом, измученные усталостью и ожиданием гибели. Поэтому все здесь становилось прекрасно, полно уюта и безмятежности.

Вино подавали кислое, но подогретое. Теплота уходила в ноги, копошилась в жилах, взбиралась по спине до плеч и проникала в натруженные мускулы. Мы

пили, неспеша курили носогрейки и почти не разговаривали.

— Когда я обедал в последний раз у моего друга, господина президента республики, он тоже угощал меня шампанским, и я остался доволен,— уверял Лум-Лум. — О, мои братья, мы попали в страну хорошего вина!

В кабачке жило все уцелевшее мирное население района — хозяйка, вдова Морэн с девочкой Жаклин, и вдова ее сына Маргерит. Тут же ютились двое приблудных сирот, приятели Жаклин, маленькие оборвыши Анри и Марсель. Они жили в другом конце деревни, в развалинах, но проводили свои дни у Жаклин. Позади прилавка, на полке, где некогда стояли бутылки, были прикреплены кнопками к стене две фотографические карточки, окаймленные черным крепом. На одной был изображен дородный усатый штатский лет под пятьдесят, на другой — артиллерийский сержант, красивый парень лет двадцати двух с задорными глазами. Фотографии изображали людей, которые некогда были хозяевами здесь, за этим прилавком, но пришла война, и они вышли на улицу, и вот они вернулись в виде бумажек, которые можно кнопкой прикрепить к стене.

Усатый мужчина был муж мадам Морэн. Мне рассказала о его гибели Жаклин. Это было в первые дни войны. Ее папа

работал на огороде, там, где теперь позиция. И вот упал снаряд и папу убило. Никто не знал, что такое война. Все говорили «война», «война», а она не понимала, что это значит. А потом соседи принесли мертвого папу, и оказалось, что это и есть война. Молодой сержант был ее брат Робэр, муж Маргерит.

Мы сроднились с нашими хозяйками. Они были для нас последние вестницы далекой, почти забытой жизни. Их простые, негромкие голоса мирили нас с нашими горестями. Их заботливость и хлопоты напоминали нам давно покинутые семьи. А главное, они были женщины! Много месяцев прошло с тех пор, как мы покинули дивные страны, где живут женщины.

Мы были настроены лирически.

«Мы, солдаты — труженики смерти. Мы сидим на берегу великого потока. Он подхватывает нас, мы мчимся в смерть. А женщины несут в себе вечность, ибо им дана тайна плодородия. Это говорю я, не знавший женщин и почувствовавший первое влечение к ним на войне. Дочку садовницы в Вэрзэнэ я изнасилую послезавтра, когда рота выйдет в Вэрзэнэ на отдых».

Эту запись я обнаружил в дневнике убитого солдата 56-го линейного полка. Труп валялся без головы на холме Вэрзэнэ, в винограднике.

II

По обязанности самокатчика я часто выезжал из окопов в штаб. На обратном пути я останавливался у кабачка — наполнить баклаги.

Но однажды я натолкнулся на заколоченные двери. Были закрыты и ставни на окнах. На воротах висел плакат: «Военным вход воспрещается». Смуглый индус в английской военной форме и в чалме цвета хаки стоял на часах у ворот. Он не хотел отвечать на мои расспросы. Опершись на куцый карабин, он глядел вдаль.

Что произошло?

За углом на завалинке сидели дети. Заплаканная Жаклин сжимала в руках куклу.

— Почему закрыта торговля?

Девочка сорвалась с места и, плача, убежала во двор. Индус продолжал стоять молча, как истукан.

— В чем дело, ребята? — спросил я оборвышей. — Почему плачет Жаклин?

Объяснение дал Марсель.

— Здесь были артиллеристы... Как раз тот полк, в котором служил этот бедный Робэр — муж Маргерит, — вы видели его фотографию... Ну, он часто ходил сюда в свой дом. И однажды он возвращается к себе на батарею... Вдруг — бац — шрапнель, и артиллерист получает осколок в ногу. Ну, он падает... А тут были другие

солдаты, они внесли его в дом. Позвали фельдшера. Фельдшер перевязал рану и велел лежать. Ну, он и остался. А ночью немцы как раз затеяли атаку, а его на позиции не было. Тогда, говорят, полковник страшно рассердился и кричал, а на другой день он приказал судить Робэра, как за дезертирство, и его расстреляли... Вот... А он не был дезертир. Он был храбрый. У него даже была медаль.

— Ну, ладно. Почему же теперь закрыта торговля? Вино-то есть?

— А как же! — воскликнул мальчуган. — Вино есть!

Я направился к двери, но мальчуган остановил меня.

— Нельзя! Вас не впустят. И им выходить нельзя со двора... Генерал, понимаете, еще тогда хотел выселить мадам Морэн и Маргерит из фронтовой полосы, но мадам Морэн доказала, что у ней погибли муж и брат и что немцы разорили все их имущество и что позиция проходит как раз через их огород... Ну, их оставили... А теперь вдруг пришло распоряжение от главного генерала закрыть торговлю и запретить ей и Маргерит выходить на улицу и пускать военных к себе. А из штатских только и остались мы с Анри... Давайте ваши баклаги!

В роте этой истории никто не хотел верить.

— Не может этого быть! — говорил Лум-Лум. — Как же можно воевать в такой стране, где солдат не может зайти в кабак выпить литр вина? Я буду проситься во флот.

Когда рота вышла в Тиль на отдых, солдаты сразу бросились к кабачку. Все было, как я говорил: дверь заколочена, надпись висит на воротах и бесстрастный сипай все так же молчаливо стоит на часах.

— Як же ж воно теперь будэ? — растерянно бормотал украинец плотник Иванюк из третьей роты. Когда неделю тому назад Иванюк заметил, что боковая стена грозит обвалом, он стал крепить подпорки. Работу он не успел окончить.

— Як же ж воно теперь будэ?

Он обращался к Хозэ Айала. Но испанец не понимал его и не мог ответить.

В этот день мы почувствовали свое сиротство. Солдаты угрюмо разбрелись по развалинам. Утром они снова толпились у дверей закрытого кабачка. Каждому хотелось заглянуть туда, видеть, что там происходит. Но часовой, угрюмо охранявший вход, не подпускал нас близко.

Мы были разбиты тяжелой обидой. Мы бродили вокруг домика и ждали, не раскроется ли ставень, не скрипнет ли дверь. Но дом молчал.

Мы были настроены лирически.

Шапиро из второго взвода, по прозванию Цыпленок, прочитал мне свои стихи, посвященные Маргерит. Цыпленок был сутулый, тщедушный парень с еврейским носом и впалой грудью. Стихи он написал по-французски. Стихи были плохие.

Но отсутствие хозяек Морэн волновало не только Шапиро. Все были обижены. Лум-Лум вспомнил, что Маргерит любит тартинки из поджаренного военного хлеба. Мы послали ей через ребят целую буханку. Мы передали также банку консервов из лакомого английского бойледбифа, полученную в рационе. Говорили, будто кое-кто из Легиона даже цветы послал хозяйкам.

III

Рытье подземных ходов продолжалось. Саперы утверждали, что мы зашли уже в тыл немецкого окопа.

— Скоро можно и взрывать! — сказал их сержант, руководивший работами. Он сидел в сапе на земле, набивал трубку и полушопотом пояснял:

— По прямой линии как раз под командным постом. Если успеем взорвать, получится паштет из баварского пехотного мяса. Как они только явятся перед всевышним в таком виде, эти сволочи?

Однако, возвращаясь из подземелья к себе, мы неподалеку от выхода, то есть уже под нашим расположением, услышали глухие подземные стуки.

— Ну, что ж! — добродушно улыбаясь, сказал сапер. — А это они уже под вас подкопались, Легион. На то и война, дорогие!

Сапер был спокоен; ему в этих окопах не жить. Он не пайщик.

Мы разбрелись по каньям. Вечером, укладываясь спать, капрал Делькур сказал:

— Если взрыв произойдет сегодня ночью, то я согласен, чтобы мою голову отнесло к немцам! Но за то я требую, чтобы все остальное попало в постель к Маргерит. Эх, и погрелся бы я! Это мое пожелание! Я готов повторить его священнику на исповеди.

— А когда ты захочешь получить по морде, ты его повторишь мне, — сказал Шапиро из второго взвода.

Он говорил негромко, с преувеличенным спокойствием набивая трубку и глядя на Делькура. Все насторожились.

— Кто это говорит?—воскликнул Делькур, будто не узнав голоса Шапиро. — Ах, это ты, Цыпленок? Это ты мечтаешь влепить в рыло старому легионеру? Ой, братья, подождите,—сейчас я лягу и буду смеяться! Дайте примоститься поудобней.

Через минуту он заговорил снова.

— Чего ты, Цыпленок, ерепенишься? Я вообще думаю, что все это не так с нашими бабами... По-моему, этот артиллерист, которого они выдавали за родного и за якобы раненого, был настоящий дезертир, самый обыкновенный подлец. Он не украл свои свинцовые сливы, он их вполне заслужил. И больше ничего! Знаем мы их.

— Почему ты так думаешь?

— Почему, почему? Потому что это слишком удобно иметь все под рукой на войне: и чтоб тут родной дом, и мама тут же, и, главное, жена тоже тут. Так не бывает! Я пятнадцать лет в армии! Меня знают на всех дорогах — от Эль-Джезаира до Тимбукту и от Судана до Индо-Китая. Мы жрем песок и запиваем потом! А к моей мамаше дорога никогда не заворачивала. Пусть скажет Миллэ, часто ли он спал со своей женой с тех пор, как он в Легионе. Пусть Лум-Лум расскажет, сколько раз видел он свой дом с тех пор, как опустил подбородник. А Кюнз?! А Адриен?! А Джафар-дурачок?! А Уркад?! И вот, извольте,— паренек устроился,— поспать с женой, пообедать у мамы, а потом пойти поиграть в снежки с шалунами, которые приехали из-за Рейна! Не бывает этого, и все!..

Кто-то из волонтеров, кажется, Бейлин, пытался объяснить, что теперь, когда вою-

ет вся страна и в армии много мобилизованных, возможны всякие случайности.

— История этого Робэра вполне правдоподобна, — поддержал и я.

— Не подвешивай мне кокосовых орехов там, где не нужно! — оборвал Делькур. — Раз военный суд приговорил его к расстрелу за дезертирство, значит, он дезертир. Военный суд не ошибается.

— Ты смело можешь сказать это, — заметил Лум-Лум улыбаясь.

Делькур рассмеялся.

— Ну что ж! — сказал он. — Суд влепил мне пять лет за эту старушку в Букафисе! Это, правда, было не самое лучшее время в моей жизни, но, по совести говоря, я-то ведь свое получил за дело!.. Тем более дезертир!.. Стрелять надо таких, и кончено!

Канья начала слушать с интересом: тут что-то есть.

— Ты говоришь, воюет вся страна! Прекрасно! Каждый взвалил себе отечество на горб и идет... Куда? Неизвестно. Люди выбиваются из сил, чтобы добраться — куда? К могиле!.. Ладно! За это платят жалованье и дают суп и табак! Ладно! Ну, а женщины!..

— Что — женщины?

— Женщины имеют право быть стервами?

— То есть?

— Имеют они право в такое время ходить между солдат с погребальными лицами, в черных платьях и разыгрывать кармелиток? А?

— К чему ты ведешь, Курносый? — спросил Лум-Лум.

— А к тому, что эти две бабы разыгрывали святых перед нами. Они запаковывали свое мясо в траурные платья, и мы ходили вокруг него, как на кладбище.

— Ну, что ж! Они вдовы!

— Вдовы! Вдовы! Они сегодня вдовы и завтра вдовы. А я сегодня — семьдесят кило капрала, а завтра — тридцать кило покойника!

— Не мешай спать! — сонным голосом перебил Франши из левого угла. — Разговорился, чорт!..

Но на Франши закричали со всех сторон.

— Молчи, Мочевой Пузырь! Еще наспишься!

Канья уже определенно желала слушать Делькура: тут, конечно, что-то есть.

— Я говорю, — если эти женщины действительно святые, — чему верят дураки, — тогда так и надо держать их под замком. Генерал правильно рассудил! Не должны святые ходить между грешными и грешные не должны глядеть на святых.

— Это очищает душу, — внезапно вставил Шапиро. Он сказал это робко, впол-

голоса, как бы только для себя, но все слышали, и Шапиро смутился и отодвинулся в тень.

Но Делькур, весело смеясь, уже подхватил его слова:

— Та святая очищает, которую кладешь к себе в постель. И вот я говорю, — мы были дураки все. Ведь это ж стыдно было глядеть! Хоть бы такой Адриен! Он, который развозил свой сифилис по всей Северной и всей Экваториальной Африке и не пропустил ни одной ни черной, ни белой! Здесь он внезапно сделался святым Франциском и фабриковал для мадам Морэн крысоловки из колючей проволоки! А залезть к ней в постель не смел?! А я? Чего я смотрел?! А Лум-Лум, старая корова?! А все?.. Нечем гордиться, старики! Мы себя вели, как мальчуганы вроде Цыпленка.

— Он верно говорит, — сказал Хозэ Айала. — С женщинами надо быть галантным и беспощадным.

Ободренный поддержкой, Делькур продолжал:

— Я думаю, — сказал он, — этот расстрелянный артиллерист не был из таких дурачков. Дезертир-то уж хорошенько поспал с этой толстозадой... как ее... Маргерит.

Солдаты слушали Делькура с нарастающим интересом. Он точно показывал давно

знакомые вещи, но с новой, неизвестной стороны.

— Надо было и нам то же самое делать! Я думаю, если бы дать ей два франка в зубы за прокат, — всякий мог бы увести ее на полчасика в чулан.

Из угла, где лежал Шапиро, через канью перелетел котелок и ударился об стенку рядом с Делькуром. Драка стала неминуемой. Но явился Уркад и увел Шапиро и еще двух человек на дежурство в сторожевое охранение.

Никто во всей роте не знал, кроме меня, что студент-филолог Шапиро молитвенно влюблен в Маргерит.

Маргерит была толста, коротконога, неуклюжа, у ней были грубые руки судомойки. Но Шапиро клялся мне, что именно в Маргерит он впервые увидел всю красоту мира. Он хотел уйти с войны неискалеченным, чтобы иметь возможность отдать свою жизнь Маргерит. Он мечтал увезти ее после войны к себе в Умань. Если она не согласится, он останется при ней в Шампани. Он будет работать батраком на ферме.

Делькур еще долго доказывал, что непродажных женщин вообще не бывает, — он не видел ни одной, хоть исходил немало земель, — что Маргерит и сама мадам Морэн не лучше других; что женщины для солдат и созданы, и уж если мы их про-

шляпили, то надо держать это в секрете, потому что глупость — не предмет похвальбы для легионера.

— Вот если ты попадешь в плен, Лум-Лум, расскажи немцам, как ты и все мы пропустили этих баб. Немцы увидят, что ты не легионер, а рождественская овечка. Они посадят тебя в ясли и будут тебе смазывать зад священным елеем.

Ночь прошла благополучно: взрыва не было.

Под утро, к тому времени, когда Шапиро вернулся в канью, идеи Делькура полностью завладели всеми. Днем они пошли гулять по траншее из взвода во взвод.

Шапиро угрюмо отворачивался, когда слышал такие разговоры: лезть в драку один против всех он не мог.

Через кухни, околоток, караульные посты и патрули версия Делькура перекатилась в другие роты. Она обрастала подробностями, она пухла, ширилась и росла, и уже через день никто больше и не сомневался, что кабачок был публичным домом и что деньги за любовь брали обе женщины — и Маргерит и ее свекровь. Как было не догадаться обо всем этом раньше! Миндальничать с заведомыми шлюхами!

Идеи Делькура проникли и в соседние полки. Проезжая с донесением мимо леса Зуавов, я сделал остановку у артиллерий-

ской батареи. Молоденький лейтенант сказал мне:

— Оказывается, это был публичный дом, там у вас в Тиле?!

У Больших Могил стояли драгуны. В драгунах служил унтер-офицером мой товарищ по факультету де-Брассак. Он сообщил мне подробности:

— Командующий армией,—сказал он,— правильно распорядился закрыть заведение. Говорят, эти две стервы перезаразили целый полк не то зуавов, не то сипаев.

Я старался разубедить его. Я рассказал ему, кто пустил этот слух и при каких обстоятельствах. Де-Брассак и слушать не хотел.

— Бросьте глупости! — говорил он. — Вы с вашей славянской душой способны верить всякому обману.

Солдаты жадно ухватились за версию Делькура: она освобождала их от бессильной жалости к вдовам, от бессильной злобы против штабных бюрократов, от злобы на свое бессилие сделать что-нибудь, от всей сложной душевной путаницы, которая возникла с момента закрытия кабачка и которая уходила всеми своими корнями в их основное несчастье — в войну.

Слова Делькура освобождали.

Теперь солдаты стали ходить к кабачку

уже по-иному. Горные артиллеристы, драгуны, сенегальские стрелки, индусские сипаи и легионеры по целым дням бродили у запертого домика. Солдаты толпились под дверью, под воротами, задерживались у закрытых ставней, высматривая, нет ли где пробоины, обвала, щели, через которую можно было бы пробраться вовнутрь, к женщинам, вознаградить себя за пропущенное время.

Но стены стояли целые и глухие, а у ворот дежурил часовой. Иногда часовые злоупотребляли: они пытались сами проникнуть в дом или пропустить туда товарища. Но это оставалось без результата: дверь была наглухо закрыта изнутри. Женщины никого к себе не пропускали. Они не отзывались на стук, они даже не подходили к дверям. Они ни разу не ответили на записки, которые мы посылали через ребят. Они запретили ребятам принимать записки.

Вино дети нам выносили. Мы распивали его, сидя на мостовой. Вино еще больше распаляло наши муки. Тогда мы пели под окнами у женщин пьяные и похабные солдатские песни, кричали ругательства по их адресу, ссорились и затевали драки.

Исступление овладело солдатами. Сипай лет тридцати садился на корточки против крайнего окна и целые часы молча смот-

рел на него неподвижными и воспаленными глазами дервиша.

Сабуниума, сенегальский самокатчик, парень невиданного роста и сложения, прибегал, задыхаясь от нетерпения и тяжелой, мускулистой ярости, и беспомощно прислонялся к каменному забору. Уши Сабуниума ловили каждый шорох, доносившийся из запертого двора. Сабуниума, который еще недавно не смел садиться, разговаривая с мадам Морэн, хотел, чтобы белые жены пустили его к себе.

Как-то случилось, что порывом ветра раскрыло ставни среднего окна, у которого мы с ним стояли. Мы на мгновение увидели Маргерит. Она стирала белье. Мелькнул силуэт мадам Морэн. Сабуниума припал к окну. Его громадные ноздри раздувались, как ноздри зверя, терзаемого гоном. Но ставни мгновенно закрылись наглухо. У Сабуниума упали руки и опустилась голова. Сабуниума прислонился лбом к стенке и тяжело дышал. Сабуниума был похож на мешок, наполненный бурей.

Приходили веселые драгуны, приходил медлительный фейерверкер бомбометчиков, приходили татуированные легионеры из третьего батальона. Солдаты приходили разъяренные сознанием, что за хрупкой дверью находятся женщины, две женщины, что они доступны и дешевы, но не

использованы в свое время, а теперь внезапно стали недосягаемы.

— Это даже странно, Самовар!—флегматически заметил однажды Лум-Лум. — Покуда этих женщин считали честными, никто к ним и не лез. А как выяснилось, что это не больше, как две продажных шлюхи, — все тут!.. Это как если бы ктонибудь хотел пить и чистой воды не брал бы в рот, а из помойного ведра стал бы хлебать, как верблюд.

Сапер Фальгоас, бретонский крестьянин с грубыми, заскорузлыми руками, осторожно царапал ногтем ставень крайнего окна. Он стоял красный, напряженно улыбаясь, и говорил, задыхаясь и полушопотом, каким говорят женщинам стыдные вещи.

— Мадам Морэн! О-эй! Это я, Фальгоас. Я ночью к вам приду. Можно?.. У меня есть монеты... я получил из дому... Пять франков... Мадам Морэн! Отворите ставень на минутку! А?

Но ставень не раскрывался. Тогда Фальгоас послал ребят за вином. Он послал их за тремя литрами красного вина. Он выпил один литр за другим, не делясь ни с кем. Опьянев, он горланил бретонские песни и бросал в ставни булыжниками. Его с трудом оттащили.

Фальгоасу разбили нос и лоб. Он кричал, выл и ругался, а его волокли и пихали ногами и смеялись.

— Мучаются люди,—сказал Иванюк.— Чоловіку бабу нужно!..

Иванюк не участвовал в попойках. Он приходил к детям.

— Эй, Марсей! Хорий! Акуліно! — кричал он, на свой лад переделывая их имена. — Где це вас чорты носють?

Ребята обступали его. Они не понимали ни одного слова из того, что он говорил. Но он приносил им дудки, свистелки, разные самодельные игрушки. Дети чувствовали, что он их любит, и любили его.

Всех же прочих они чуждались. Когда однажды, перепившись после получки, мы гурьбой кинулись к воротам и часовой стал разгонять нас прикладом, Жаклин громко разрыдалась.

— Акуліно, Акуліно!—растерянно гладил ее по голове Иванюк.

Дети нам прислуживали. Этим они зарабатывали на жизнь. Через них шла вся торговля мадам Морэн.

— Это не чересчур красиво, — говорил Лум-Лум, — что мы похабствуем при детях. Впрочем, Самовар, — прибавил он тут же, — что же нам еще делать? Другой жизни ведь нет у нас!

Я в это время перелистывал евангелие от Матвея, оставленное мне миссионером, — единственную книгу, которая имелась во взводе. Лум-Лум сидел рядом и через плечо заглядывал в книжку.

— Кстати, друг Самовар, — сказал он, — объясни мне как товарищу — бог есть? Только не очень ври! Расскажи мне теорию про бога. Как, по-твоему, — вся эта мерзота не беспокоит его? А про детей, про этих, что он думает?..

Помолчав немного, Лум-Лум продолжал:

— Я тебе скажу правду, старик, мне не нужно такого бога. Плевать я на таких хотел!

IV

Я проезжал мимо кабачка ночью, возвращаясь из Реймса, и часовой меня не окликнул. Калитка была открыта настежь. Часового не было. Я вошел во двор. Дверь дома оказалась открытой. Я посветил карманным фонарем. В кухне не было никого. Я прошел в комнату. Там тоже было пусто. Пронзительный крик Жаклин раздался внезапно из-за шкафа.

— Уйдите! Уходите! — кричала она.

Она не хотела сказать, где ее мама и Маргерит. Я вышел. Во дворе, неподалеку от дверей я споткнулся о какой-то предмет. Это была пехотная винтовка. Я посветил фонарем и увидел Иванюка. Он лежал ничком. Его руки были туго связаны за спиной широким легионерским шар-

фом. Я развязал узлы. Но Иванюк продолжал лежать неподвижно. Его лицо оказалось залито кровью. Дыхание было еле-еле слышно.

Что здесь произошло?

Я снова бросился к Жаклин. Попрежнему она не хотела говорить.

Я поспешил за фельдшером.

Когда я подъезжал к перевязочному пункту, чудовищный взрыв донесся со стороны фронта. Земля тяжело дернулась.

В околотке я застал суматоху. Там уже не хотели знать ни меня, ни Иванюка. Санитары возбужденно спорили о взрыве. Кто кого взорвал? Рыжий синеглазый бородач бился на два литра об заклад, что взлетели на воздух наши и что сейчас им, санитарам, будет большая работа.

— Только собрались перекинуться в покер! — ворчал он.

Я помчался к себе в роту. Уже в ходах сообщения, в «кишках», как мы их звали, я услышал крики, стоны и вой.

Немцы, оказывается, опередили нас. Взлетел на воздух отряд сенегальцев, сидевший в траншее рядом с нами.

Уже становилось светло. Большая яма с рубцами подземных коридоров разрывала линию окопов. Входы в окопы были забиты мешками с землей. На дне ямы лежали убитые сенегальцы. Двое застряв-

ших в яме легионеров боролись с кучкой немцев.

Мы из окопа открыли огонь. Но первой жертвой пал один из легионеров. Огонь пришлось прекратить. Второй отчаянно отбивался от рослого немецкого пехотинца. Они держали друг друга за горло и, исступленно крича каждый по-своему, бились кулаками. У легионера было рассечено ухо. У пехотинца шла кровь из носу. Это была не война — это была самая обыкновенная солдатская драка. Ни одна сторона не стреляла в дерущихся, чтобы не попасть в своего. Легионер и немецкий пехотинец, грязные, потные и оборванные, падали и вскакивали. Но вот легионер вырвался, отступил на шаг и с размаху ударил немца ногой в низ живота. Немец тяжело упал на спину, легионер бросился на него, сопя и плюясь, но внезапно земля обвалилась под ними, и оба упали на дно подземного коридора, увлекая за собой камни и песок, обломки балок.

На двух шинелях, пристегнутых одна к другой, сенегальские санитары приволокли окровавленную мешанину из рук, ног и голов. Прижавшись щекой к подкованному солдатскому башмаку, лежал почти неизуродованный труп Маргерит в солдатской форме и с распущенными волосами. Тело вдовы Морэн нашли несколько позже. Ноги оказались оторванными. Ту-

ловище было затянуто в солдатскую куртку. В левой руке было зажато черное ухо сенегальца. Солдаты сопровождали эти неожиданные находки бесстыдным хохотом и прибаутками. У немцев играли траурный марш. Вслед за маршем посыпалась солдатская полька и веселый тенорок пел дурашливые слова.

Я копал могилу и находился на дне ямы. Я не заметил, как появился среди нас Анри. Его голос я услышал совершенно неожиданно.

— Не говорите Жаклин! Не показывайте Жаклин! — повторял мальчик. — Двое черных пришли к нам ночью, — объяснял он, задыхаясь. — Они связали часового. Жаклин говорит, они делали глупости с женщинами, и женщины кричали. Стрелки принесли солдатское платье и переодели их и увели с собой. Жаклин говорит, что ее мама страшно кричала... Ах, не показывайте Жаклин! Не говорите ей!

Но Жаклин уже бежала к нам. Ее платьице развевалось по ветру. Она остановилась неподалеку от ямы и прислонилась к дереву. Ее глаза горели, но слез в них не было. Анри тихо подошел к ней и взял ее руку.

В присутствии детей мы впервые почувствовали тяжкое значение нашего труда. Привычная работа гробокопателей, которую мы всегда принимали как грязную

возню, впервые сделалась для нас торжественным обрядом. Эти кучи растерзанного мяса, неподсчитанные ноги и руки, внутренности, от которых шел душный запах, головы, облепленные грязью, предстали перед нами по-новому. Солдаты насупились и молчали.

Музыка у немцев прекратилась. Стало тихо. Лопаты мягко, почти беззвучно уходили в землю.

Чижи пели в кустах. С поля дул свежий, приятный ветер.

— Надо женщин положить отдельно,— сказал кто-то негромким голосом.

Я оглянулся. Говорил Лум-Лум.

— Пусть не лежат с теми, из-за кого погибли! — пояснил он.

Мы вырыли в сторонке еще одну могилу и бережно опустили в нее то, что осталось от женщин.

Кто-то смастерил крест. Мы написали на нем имена Марии-Луизы и Маргерит Морэн и приписали: «умерли на поле чести».

Это была высшая почесть. Солдаты сочли необходимым оказать ее этим женщинам, которых они обидели.

СНОВА В ТИЛЕ

Все мои моленья,
Все мои угрозы
Ветер вдруг развеял
В дальних небесах.
Посмотри ж клинок мой!
Он — как стебель розы.
И вино смеется
В толстых кувшинах.

Эту старинную песню эпохи войн за испанское наследство мы пели еще студентами в Париже, в Латинском квартале, в прокуренной и полутемной кофейне Кюжас, на Буль-Мише. Сейчас пела наша рота. Грязные, запыленные, изнемогая от усталости, зноя и жажды, мы вступали в Тиль. Месяц прошел, как нас сняли отсюда. Месяц возили нас с одной позиции

на другую, нигде не давая обосноваться. И вот мы возвращаемся!.

Я пойду в походы,
И без сожалений
Я из Пиренеев
В Фландрию пройду... —

звенела песня.

Громадный и тяжелый, в широкой и длинной темносиней шинели с пелериной, глубоко насадив шлем на глаза и опустив подбородник, впереди батальона верхом на могучем пегом коне выступал наш командир, майор Андрэ — Стервятник, как его звали солдаты.

Старые знакомые развалины! Все так же молчаливо и горестно глядят они на нас, все так же зияют остатки пожарищ, и обломки стен все так же валяются у дороги.

Пусть умчатся годы,
Но в огне сражений
О, Мирэль, я гибель
Иль любовь найду!

Запевалой был длинноносый Шапиро из второго взвода. У него был приятный голос. Эту песню он пел всегда с особенным чувством.

— «О, Мирэль, я гибель иль любовь найду», — иронически буркнул Кюнз, шагавший рядом со мной. — Должно быть,

про свою занозу вспоминает, про эту Маргерит. Помнишь, как он тогда в канье запустил котелком в Делькура, когда тот сказал, что она шлюха? Распелся кенарь!.. А свинцовую сливу в зад не хочешь?..

Мы проходили в эту минуту по тому переулку, где произошла история мадам Морэн и Маргерит.

Что сталось с ребятами?

Почему двери кабачка заколочены? Неужели детей уже тоже нет в живых?

Наш взвод разместили в развалинах в этом же переулке.

Я обогнул кабачок с угла. Рослый шотландский хайглэндер стоял у калитки на часах. Здесь теперь арестное помещение? Но тогда почему продолжает висеть прежняя доска с надписью по-французски: «Военным вход воспрещается»?

Хайглэндер, вместо ответа, флегматично вскинул ружье на руку и грозил штыком.

Вскоре, четко стуча башмаками по мостовой, появился караульный отряд нашего полка. Рядом выступали хайглэндеры. У таверны шла смена часовых. Сержанты отдали друг другу честь, и шотландцы пустились догонять свой полк, который мы здесь сменили и который уже пылил на большой дороге.

— В чем дело? — спросил я часового-легионера.—Почему тебя здесь поставили,

— А кто его знает? — равнодушно ответил он. — Ведь тут всегда полагался часовой... Тут ведь эти жили, как их?..

Но вот скрипнула калитка и показался Марсель.

— Французы! — чуть не плача от радости, воскликнул он. — О, мсье! Вы вернулись! Как это хорошо!

Он юркнул в дом. Тотчас выбежали Жаклин и Анри.

— О, мсье! О, мсье! — повторяли они. — Какое счастье!..

Ребята перебивали друг друга, волнуясь и захлебываясь. Они были похожи на маленьких зверьков, которых выпустили из клетки.

— Это случилось на третий день после несчастья с моей бедной мамой и с Маргерит, — рассказывала Жаклин. — Ваш полк ушел на следующий день ночью, а на третий день утром тут уже стоял часовой, который не понимал по-французски. Это были хайглэндеры. Они к нам никого не пускали, — часовой всегда стоял у ворот. Солдаты кормили нас на кухне, но торговли не было никакой. О, мсье! Мы ходили в штаб просить, чтобы открыли наши окна и двери, потому что в доме темно. Но нас не понимали и не верили нам. О, мсье! Как хорошо, что мы можем говорить по-французски!

На следующий день, когда я в штабе

передавал казенные пакеты адъютанту, вошел вестовой с глупым и испуганным лицом.

— Там вольные жители спрашивают господина лейтенанта, — сказал он, вскидывая руку к козырьку. — Их трое.

— Вольные? — недоумевающе спросил офицер. — Откуда они взялись? Пусть войдут! О каких вольных жителях может быть речь в этом опустошенном городке?

Жаклин держала в руках бумагу. Девочка дрожала от страха и еле передвигалась. Анри и Марсель вели ее под руки. Все трое остановились в дверях.

— Ну, что надо? — спросил удивленный лейтенант.

У Жаклин стучали зубы. Анри высвободил руку, взял у Жаклин ее бумагу и подал офицеру.

«Так как мои все убиты, папа мсье Морэн хозяин таверны и мама мадам Морэн хозяйка таверны и мой брат Робэр сержант и Маргерит его вдова за Францию на поле чести, прошу обратно открыть таверну. И чтобы часовой больше не стоял у ворот. Жаклин Морэн».

Ниже было подписано:

«И мы тоже просим господина главного французского генерала сделать чтобы торговать было свободно и больше женщин в доме нет кроме нас, так зачем часовой, а

Жаклин не больше, как дитя. Анри и Марсель Ламбер».

— Это вы из таверны, что за холмом? Вспоминаю. Ну, что ж, они погибли, по-твоему, на поле чести, твоя мать и сестра? — насмешливо спросил офицер.

— Да! — ответила Жаклин. — Как раз там, где мы сажали бураки.

Адъютант согласился доложить майору, и Стервятник, сверх ожидания, разрешил кабак открыть.

Затхлостью и запустением пахнуло на нас, когда мы туда вернулись. Все стояло на старых местах, — и дощатые скамьи, и боченок позади прилавка. Но вино не давало радости. Теплота не разбегалась от него по телу. Все было лишь похоже на недавнее прошлое, как труп похож на близкого, еще недавно дышавшего человека.

Было пусто без этих двух женщин, которых мы оклеветали, убили и закопали.

Новые хозяева таверны, трое детей, впряглись в жизнь.

Анри встречал посетителей тоном заправского кабатчика. Засучив рукава, худенький мальчик стоял у прилавка. Окурок ржавел у него в уголке рта. Стойка была слишком высока: Анри было трудно разливать посетителям вино, но он старался делать это с независимым и опытным видом.

Марсель был официантом. Он ходил в погреб. Он разносил по столам. Он же бегал к нашим кухням, — нередко у самых позиций, — получал от кашеваров котелок объедков и спешил назад, пока не догнала пуля.

Жаклин была хозяйкой.

— Касса! — восклицал Анри, и девочка, протискиваясь между столиками, получала деньги.

Дети были рады, что окна больше не заколочены, что снят часовой и открыта дверь. Дети были рады, что видят вокруг себя взрослых.

Мы обращались с ними ласково. Но они все же побаивались нас. У Жаклин глаза так и остались испуганными. Она помнила, как мы еще недавно бушевали под окнами, и ждала, что мы вот-вот снова перепьемся.

Мы как будто сами боялись этих детей, но буйство все же произошло. Это случилось в тот вечер, когда Делькур праздновал свое производство в сержанты.

У Делькура была слабость: он не умел пить, не буяня.

Стояла удушливая июльская жара. Делькур был уже пьян, когда другие еще только-только начинали входить во вкус. Он горланил песни, кричал и грозил поломать морду кайзеру.

— Женщину! — неожиданно закричал

он. — Давайте мне женщину! Я полезу к ней на батарею!

Жаклин робко жалась в углу.

— Эй, девочка! — кричал Делькур. — Позови сюда свою маму. Скажи ей, что мне нужна женщина.

— Перестань, Делькур! Брось! — сказал ему кто-то. — Здесь нет женщин.

Но Делькур не унимался.

— Ах, да! — кричал он. — Обеих шлюх разорвало! Но ничего. Иди сюда ты, девчонка! У меня есть для тебя картинки. На, смотри!

— Ладно! Ладно! Нечего хвастать! — сказал Кюнз и встал, чтобы своей широкой спиной заслонить Делькура.

Но пьяница был упрям. Он отстранил Кюнза и, выйдя из-за его спины, быстро спустил брюки до колен.

— Что? Понравилось? — кричал он.

Все его тело было испещрено татуировкой. Жаклин с визгом забилась под прилавок.

— Ага! Вижу, что понравилось! — кричал Делькур.

Он смеялся бессмысленным пьяным смехом. Он толкался между столиками и тыкал каждому в глаза свою татуировку. Большая надпись «да здравствует вино и любовь» шла через весь живот. Голые женщины и мужчины переплетались в самых неожиданных сочетаниях.

— Иди сюда, девочка! — орал он. —

Посмотри, какие картинки! Это тебе поможет приготовиться к первому причастию.

Красное вино внезапно залило ему живот и ноги, как кровь, хлынувшая из разорванных внутренностей.

Анри, испуганный, затравленный, но обнаживший клыки звереныш, бледный и трясущийся, сжимал в руке стакан.

Делькур ударил его, и мальчик упал без чувств. Но в то же мгновенье носатый Цыпленок Шапиро из второго взвода ударил Делькура ногой в живот. Кулаки у Делькура были, как копыта першерона. Держа Шапиро за горло, он мгновенно раскровавил ему лицо. Защищаясь, Шапиро схватил Делькура за рукав. В руке Шапиро остался новенький сержантский галун.

Тишина оглушила нас внезапно. Вошел Миллэ.

— Смирно-о-о!

Все застыли.

— Легионер Шапиро! — заорал Миллэ.— Опять вы!.. Опять вы суете ваш жидовский нос не в свое дело!.. Держите хорошенько этот галун! Держите его! Он вам пригодится!..

Шапиро сделался тяжел и медлителен. У него вспотели виски. Подняв оброненные очки, он близорукими глазами рассматривал разбитые стекла, дыша тяжело, как загнанная лошадь. Руки у него дрожа-

ли. Он искал в карманах платок, чтобы вытереть лицо. Платка не было. Ладонь его была в крови.

Миллэ вытащил револьвер из кобуры.

— Вы арестованы! — крикнул он.

Мы попытались потушить дело. Адриен предлагал допить вино.

— Не опоздаешь и потом с арестом! Не убежит! Куда ему без очков бежать? — убеждал Адриен.

Миллэ продолжал, однако, стоять с револьвером в руке.

— Брось, Шакал! — сказал Лум-Лум. — Тип не так уж виноват. Ведь Делькур — корова! Брось! Это у него кафар из-за его Маргерит. Это он сдуру полез в драку! Из-за любви! Брось его, Миллэ! Не стоит!

Шапиро нашел, наконец, платок и стер кровь с лица. Казалось, сейчас все начнет успокаиваться.

Но неожиданно раздался голос Жаклин.

— Господин начальник! — сказала она, выползая из-за прилавка. — Господин начальник! Мы вас очень просим... Мы боимся, когда пьяные... Мы боимся, когда они дерутся...

— Кругом м-марш! — скомандовал Миллэ.

Шапиро повернулся, как автомат. Миллэ шагал позади него, вскинув кверху сухой подбородок и торжественно держа револьвер в вытянутой руке.

— Ну, теперь он насидится, твой приятель! — сказал мне Лум-Лум. — Уж они его напоят водичкой, Миллэ и Стервятник!

Вечером в штабе была непонятная суета, — телефонисты были заняты без передышки, конные ординарцы и мы, самокатчики, не имели ни минуты покоя. Вечер и часть ночи прошли в беспрестанной гонке в штаб бригады и обратно.

— Будет наступление! — решили солдаты.

Ночью батальон ждал сигнала. Ночь прошла, однако, спокойно.

Рано утром штабные денщики стали почему-то прибирать пустовавшее — самое вместительное из уцелевших в Тиле — помещение мясной лавки.

Денщики мыли полы, протирали окна. Они разыскивали среди развалин столы, стулья и тащили в мясную скамейки из кабачка.

Даже они, всезнающие денщики, не могли объяснить, что готовится.

В десять часов утра в помещение мясной, на котором была усердно отмыта даже вывеска «Мясо. Всегда свежая конина и ослятина», вошел полувзвод с примкнутыми штыками. Солдаты выстроились вдоль стены. Двое легионеров из четвертой роты ввели Шапиро. Лицо его было в кровоподтеках. На куртке нехватало пуговиц. Шапиро недоумевающим взглядом

смотрел вокруг себя. У него пересохли губы, и он все время облизывал их.

Через несколько минут явилась группа офицеров с командиром батальона во главе.

Громко стуча каблуками, шаркая стульями, кашляя и шелестя бумагами, офицеры расселись за большим столом.

Я с двумя другими ординарцами забился в чулан позади лавки.

Это было заседание военно-полевого суда. Слушалось дело по обвинению легионера второго класса, волонтера военного времени, Шапиро Хаима, русскоподданного, родившегося в Умани (Россия), двадцати пяти лет отроду, не судившегося, студента-филолога парижского университета, грамотного, плавать не умеющего,— в мятеже на театре военных действий.

Председательствовал Стервятник — командир нашего батальона майор Андрэ. Насадив шлем глубоко на глаза, опустив подбородник, скрестив на груди руки в толстых кожаных перчатках и вытянув длинные ноги, Стервятник долго молча смотрел на подсудимого надменными и тяжелыми глазами.

— Итак, — сказал он, — вы пришли в армию, якобы защищать цивилизацию, а на деле вы оказались нигилистом, который сеет мятеж?!.

Он сделал паузу.

— Вы объявили себя подданным союзного государства, и вам было оказано доверие! — укоризненно глядя на Шапиро, продолжал майор через минуту. — Впрочем, — воскликнул он, переглянувшись с капитаном Персье, который сидел справа от него,— я понимаю! Я понимаю, почему вам, легионер Шапиро, приходится жить на чужбине: ваше отечество, чорт возьми, брезгает держать таких людей, как вы, даже на каторге. Это ясно!

Шапиро стоял молча. Три детских носа приплюснулись к окошку позади председателя суда. Шапиро рассеянно улыбнулся. Стервятника это взорвало.

— Вам смешно? — заорал он. — Что смешит вас, легионер Шапиро́? То, что Франция кормит вас? Или то, что она платит вам жалованье?

Шапиро молчал.

— Скорей всего, — снова поднял Стервятник свой сухой, стучащий голос, — скорей всего вас смешит то, что Франция дала вам мундир, а вы...

Майор, разжав руку, бросил на стол галун сержанта Делькура.

— ...вы нападаете на ваших начальников и перед лицом неприятеля срываете с них знаки различия, которые им дала Франция!..

Шапиро хотел что-то сказать, но майор ударил кулаком по столу.

— Молчать!

Солнце било Шапиро в глаза. Шапиро ерзал, щурился, заслонял глаза рукой.

— Стоять смирно! — орал майор. — Здесь не школа танцев. Здесь военный суд. Вы обвиняетесь в мятеже на театре военных действий.

Тогда на мгновенье наступила тишина, та торжественная тишина, во время которой совершается непоправимое.

— Я плевать хотел, — негромко откашлявшись, произнес Шапиро, — я плевать хотел на галуны сержанта Делькура...

Все замерли. Майор подобрал ноги. Он почти повалился на стол.

— Я плевать хотел на театр ваших действий, на ваш суд.

Офицеры вскочили с мест. Опешив от неожиданности, Стервятник стал расстегивать и застегивать портупею.

— ... на ваши крики и на вас, господин майор...

Тишина в лавке стояла неподвижно. Кончив свою реплику, Шапиро, скромный, носатый, никогда не ругавшийся, застенчивый Шапиро, глядя в упор на оторопевшего Стервятника, откашлялся и, прибавив несколько витиеватых русских матюков, тяжело сел.

Батальон не знал, что происходит в мясной лавке: первую и вторую роту угнали принимать душ. Под душ был оборудован

котел какого-то разрушенного завода в четырнадцати километрах от Тиля. Третья рота работала на канале. В четвертой был смотр снаряжения: солдаты, выложив содержимое своих ранцев на траву и стоя каждый у своего добра, показывали ротному командиру, что рацион — консервы, галеты и кофе — в порядке и пуговицы начищены до необходимого блеска.

Часа за два до обеда трубачи затрубили сбор батальона.

Первые две роты только входили в Тиль. Они пели нашу любимую песню:

Посмотри клинок мой!
Он — как стебель розы.
И вино смеется
В толстых кувшинах!

Барабаны били тревогу. Роты бегом пустились к месту сбора.

— Наступление? Неужели сейчас в атаку погонят?

Батальон вывели за околицу, туда, где за пустырями начинался частокол деревянных крестов, называвшийся Малыми Могилами. Солдат построили в каре.

— Значит, парад! — решили солдаты. Вспоминали, как под Краонной такой же парад в честь старшего полкового врача, получившего орден за выслугу лет, подвергся обстрелу. В тот раз шрапнели стали рваться в самом начале парада, во время речи полкового командира.

Кого будут награждать сейчас?

Одна стена каре раздалась. Под конвоем ввели Шапиро. Его поставили у дерева.

— Расстрел?!!

— Это за что же?

— Немецкий шпион, значит. За измену казнят!..

— Какой он шпион? Это Шапиро! Он в роте первый разведчик!

Шапиро стоял, напряженно и растерянно улыбаясь. Щуря близорукие глаза, он сосредоточенно, как загипнотизированный, рассматривал крайнего справа стрелка, краснощекого весельчака Бодена. У Шапиро был усталый вид.

Полувзводом командовал Делькур. Когда, после залпа, он, по уставу, пускал казненному револьверную пулю в ухо, он делал это сконфуженно. Играли трубачи. Примкнув штыки, батальон дефилировал мимо тела Шапиро. Итти было трудно. Накануне был дождь. Почва была размыта. Грязь прилипала к ногам комьями. Мы шли нестройным шагом, сутулясь и спотыкаясь, штыки вразброд.

Я занимал единственную уцелевшую комнату на втором этаже разрушенного дома. Недавно был убит мой сосед-телефонист, и я жил один.

Ночью я долго не мог уснуть.

— Самовар! Самовар! — послышалось в окно.

Я выглянул. Внизу стоял Лум-Лум.

— Самовар! У тебя не найдется глоточка? Страшно пересохло в горле.

Он поднялся ко мне.

— Ты утешил меня, домовладелец!— сказал он, подкрепившись вином и сыром. — Особнячок у тебя ладный! Только надо, чтобы полы были немного помягче, а то лежать жестко... Почему ты молчишь? У тебя кафар из-за Цыпленка? Что ж ты хочешь, Самовар? Это — война!

Где-то далеко, возле Реймса, колотилось сердце пушки.

— Но ты объясни мне только, — сказал Лум-Лум после большой паузы, — объясни мне, зачем все это? Чего он добился, этот дурак Миллэ?.. Ведь теперь Стервятник распорядился опять кабак закрыть! Уже там часовой стоит! И как раз завтра должно было притти свежее вино из Вэрзэнэ! Ах, дурак!.. Ах, какой дурак... Отчего, Самовар, так много дураков?!

ВЕСНА

Батальон входил в Мези рано утром.

Впереди шли русские песельники. Фукс запевал «Дуню». Антошка пронзительно свистел в два пальца. Бейлин гикал. Хор гремел. Солдаты выстукивали шаг и жадно смотрели по сторонам, — нет ли женщин. Батальон просидел восемь месяцев в лесных пещерах Блан-Саблона. Люди обросли, завшивели и одичали и хотели видеть женщин. Женщин не было. Никого не было. Была пустыня.

Нас должен был встретить проводник, но и его не было. Мы с Лум-Лумом отправились на поиски и нашли его среди груды развалин, над которой болталась по ветру вывеска с надписью «Харчевня

Галльского Петуха». Проводник был пьян мертвецки. Мы хорошенько вздули его, чтобы привести в сознание, но пользы это не принесло.

— Ну, что надо? Что надо? — бормотал он. — На кой чорт вам проводник? Хороших квартир нет, а плохие вы и без меня найдете.

Он был слишком пьян. Нам стало жалко его, и мы сказали, что проводника не нашли.

Командиры ругались. Батальон остановился посреди деревни на улице. Солдаты ворчали. Мы были посланы за квартирьеров — подыскивать помещения для людей.

Пьяница оказался прав: хороших квартир в Мези не было, а плохие искать не приходилось — все дома стояли одинаково опустошенные, разрушенные и поруганные. Жители давно бежали, а солдаты давно пожгли в походных жаровнях мебель, двери, оконные рамы, половицы, балки, стропила крыш. Пустые окна были черны, как глазницы истлевшего трупа. Зловеще зияли вышибленные двери.

Не было выбора, поэтому солдат разместили быстро: каждый взвод занимал первое попавшееся помещение. Трудно было только с околотком и с пулеметной командой. Мы снова отправились на поиски.

Ни живой души не было видно вокруг,

ни голоса не было слышно, ни шороха. Только яблони цвели кое-где среди развалин и нежно пахли. Для кого они цвели?

Но вот из бокового переулка донеслось конское ржание.

— Дело идет, Самовар! — обрадовался Лум-Лум. — Лошадь! Где лошадь, там люди!

Мы бросились в переулок. Лошадь стояла у сравнительно уцелевшего дома — одна пробоина в крыше, не больше.

— Драгун! — недовольно заметил Лум-Лум, увидев седло военного образца. — Мало радости! Я думал, вольные!

В доме раскрылась дверь. Она раскрылась широкой створкой в нашу сторону, так что ни мы не видели, кто был за дверью, ни нас не видно было.

Раздался поцелуй и вздох. Затренькали шпоры. Копыта застучали по мостовой. Дверь захлопнулась. Тогда мы постучались.

— Кто? — спросил женский голос, и дверь отворилась.

Мы увидели некрасивую женщину лет двадцати семи в сарпинковом платье в клеточку. Она была затянута в высокий деревенский корсет, из которого выпирали косточки. Мы вошли за ней в дом и сказали, кто мы и по какому делу.

— А какой полк? — раздался слабый женский голос из глубины комнаты. Там

в полумраке лежала на кровати больная старуха.

— Легион, — сказал я.

— Опять пехота?!

Старуха была разочарована, и мы с Лум-Лумом обиделись.

— Вы не любите пехотинцев? — спросил я раздраженно.

— Нет, не то! — с заминкой ответила старуха. — Но пехота у нас стояла всю зиму. Да что я? — всю войну у нас только пехота и пехота.

— Ну, и что?

— В других деревнях хоть артиллеристы квартируют, — сказала старуха.

— Чем же это, мадам, артиллеристы лучше нас? — уже запальчиво спросил Лум-Лум.

— Я не сказала, что артиллеристы лучше, друг мой. Все одинаковые герои. Все жертвуют собой ради Франции, — защищалась больная. — Но просто теперь весна... Так что вот...

Я взглянул на Лум-Лума. Нет, он тоже не понимал, при чем тут весна.

Разговор прервала молодая хозяйка.

— А скажите, у вас пулеметная команда как — на мулах? — спросила она.

— На мулах.

— В таком случае у нас поставьте пулеметчиков.

— Пулеметчиков? — раздумчиво пере-

спросил Лум-Лум.— Нам бы околоток разместить. Пулеметчиков мы, пожалуй, поставим у «Галльского Петуха». Там, кажется, конюшни уцелели.

— У дяди Гастона? Это он вас упросил? — с непонятной злобой сказала молодая.

— Кто упросил? Какой дядя Гастон? Мы никого там не видели. Мы вообще никого не видели во всей деревне. Вы первые, — сказал я.

— И последние, — добавила хозяйка. — Кроме нас с матерью и моего старого дяди Гастона, здесь больше никого не осталось. Но дядя еще, вероятно, спит себе в погребе со своей рыжей, — опять со злобой сказала женщина, засмеявшись.

— Это жена его? — спросил я.

— У него нет жены! — глухо ответила старая хозяйка. — Он похоронил мою бедную сестру Луизу шесть лет тому назад.

Я почувствовал неловкость за свой вопрос, а старуха, после небольшой паузы, раздумчиво сказала:

— Жалко все-таки! Мне все-таки ее жалко. Конечно, это не мое дело, и теперь, когда моей бедной Луизы нет, старик волен делать, что хочет. Но я все-таки скажу, — нехорошо он поступает, что не выпускает ее из погреба. Это жестоко... Я говорю это вслух, хотя никогда ее не любила, видит бог.

— А она хороша? — встрепенувшись, спросил Лум-Лум.

— Кто?

— А эта... рыжая?

— Рыжая? Она противна! Она тоща, как коза, — ребра можно пересчитать. Но старик совершенно одурел. Он не отпускает ее ни на шаг.

Молчание продолжалось недолго. Его нарушила молодая хозяйка, заявив безапелляционным тоном:

— Пулеметчиков с мулами вы поставите у нас. Конюшни, сеновал, водопой, помещение для людей. Они не пожалеют.

После мимолетной паузы она продолжала с натянутой улыбкой:

— А чтобы и вы не пожалели, обещаю вам, ребята, по литру вина каждому.

Этот аргумент решил все. Мы побежали за пулеметчиками.

— Чорт ли ей в них, этой бабе? — сказал я Лум-Луму на ходу.

— Ну, скажи на милость! Видать, и драгун есть, — ответил он, — а все-таки подай пулеметчиков! Да еще всю команду! Весна! Весной бабы бесятся!

Не успели пулеметчики расположиться, не успели мы с Лум-Лумом распить свои два литра, как в небе раздался торопливый грохот аэроплана.

— Голубка летит, — сказал кто-то. — Сейчас она снесет нам яичко на голову!

Аэроплан был немецкий, сержанты свистками загнали нас в помещения, и мы лишь сквозь щели могли следить за тем, что происходит в небе.

Вокруг аэроплана стали рваться шрапнели. Вскоре он оказался плотно окруженным облачками разрывов. Пилот искал выхода; он то опускался, то подымался, то пытался уйти влево, то вправо.

Но лаяли пушки, и облака разрывов, похожие на громадные хлопья ваты, плотно сжали аппарат. Через несколько минут крылья подогнулись, и он ринулся наземь! Мотор храпел, как разъярившийся зверь. Это был уже не маневр, а катастрофа! Из аппарата выпал человек, перевернулся в воздухе и, растопырив руки, камнем пошел вниз.

Грохоча, как снаряд невиданного калибра, аэроплан упал шагах в ста от нашего дома, на огородах. Мы все устремились туда. Аппарат зарылся мотором в землю и, простояв около минуты в таком положении, внезапно зашатался и опрокинулся. Тогда мы увидели пилота. Он был мертв. Верхняя часть головы была сшиблена, туловище, залитое кровью, было стиснуто между рулем и стенками кабины. Труп положили наземь, рядом с аэропланом.

Несколько солдат, и я в том числе, бросились разыскивать наблюдателя. Но мы его не нашли, — он, видимо, упал в реку

и утонул. Возвратившись, мы застали среди солдат хозяйку пулеметчиков и ее больную мать. Старуха стояла, опираясь на палку и на руку дочери. Женщины ссорились с широкоплечим, небольшого роста стариком в рваной крестьянской блузе и деревянных башмаках. Синие жилки бороздили лицо старика и уходили на крупный нос.

— Ну, чего? Чего? Чего вы лезете? — кричала молодая хозяйка. — Мало вам вашей рыжей? Вам еще надо?

— Ты мне мою рыжую не трогай! Ты про нее не смей! — яростно возражал старик.— А вот ты скажи, стерва ты этакая, к кому драгуны на конях ездят днем и ночью?

Старик повернул лицо к нам.

— И как только они не брезгают?! — кричал он, паясничая. — Баба противна, как вошь...

Солдаты прыснули со смеху.

— Молчать! — взвизгнула женщина.

Но старик продолжал свое.

— Как вошь! — кричал он. — Я это утверждаю! А она дерет с них три шкуры за вино, за сыр...

— Молчать!..

— ... и за собственное мясо...

— Молчать, старый негодяй...

— Да еще заставляет работать на нее по хозяйству.

— Врешь, подлец! — закричала на сей раз старуха.

Солдаты ржали от хохота.

— На такую вошь, — кричал старик, обращаясь к нам, — на такую кривомордую падаль работает целый эскадрон драгун из Шодара! Она имеет все... А я...

— А ты — старый пьяница!

— А я — стар и одинок, а теперь весна.

Снова раздался раскат хохота. Лум-Лум держался за бока. Он изнемогал от смеха.

— Весна! — кричал он, задыхаясь. — Этот тоже о весне! У него тоже кровь играет!.. Ой, не могу! Ой, лопну! Дядя Гастунэ, да ведь у вас есть ваша рыженькая!

— Ну, и что ж? А ведь — весна...

Теперь от хохота катались все, у Лум-Лума уже текли из глаз крупные слезы.

— Три человека в селе, и всем весна в голову ударила! — кричал он.

Старик чувствовал, что имеет успех у солдат, и перешел в новое наступление.

— Спекулянтки! Мародерки! — кричал он. — Вы блюете патриотизмом по два су ведро, а сами обдираете солдата!.. Спекулянтки!

— Мы спекулянтки? А кто кормил и поил германского принца? Господа! — завопила женщина, обращаясь к нам. — Гос-

пода! Когда варвары надвигались на Мези и все добрые французы бежали, этот подлый старик остался здесь делать дела! «Я не могу служить отечеству как солдат, — говорил он, — я буду служить ему как коммерсант! «Галльский Петух», — он говорил, — это мое знамя. Я буду бороться с варварами, не выпуская знамени из рук». Так он говорил. И что вы думаете? Варвары пришли и ничего у него не взяли. Они стояли здесь три недели, и он делал блестящие дела. У него жил принц крови. И старик пресмыкался перед ним, как французу должно быть стыдно пресмыкаться перед бошем, даже если это принц крови. Но бош платил золотом, и старик только молил бога, чтобы это продолжалось подольше.

— Врешь, падаль! — вставил старик.

Но женщина больше не обращала на него никакого внимания.

— Есть, однако, высшая справедливость, и мы видели ее здесь в Мези, — вопила она. — Когда наш добрый и великий Жоффр захотел дать варварам взбучку на Марне, он стал щекотать им зады артиллерией, чтобы они быстрей передвигали ноги. И тогда он обратил в прах того подлого «Петуха», который смел именоваться «Галльским», а сам давал убежище проклятым бошам. И поделом! Это французские снаряды обратили его в гру-

ду камней. И поделом! Это французская армия пустила по миру подлеца, который наживался на немцах! И поделом!

Женщина гремела низким, грудным, почти мужским голосом. Она говорила, стоя на бугре и делая широкие жесты рукой, как бы раскидывая пригоршнями свои злые слова. Ее взлохмаченные волосы развевались по ветру, глаза горели, ноздри раздувались. Она была похожа на фурию.

— Ну, в чем дело? Чего вы здесь раскричались? — заревел неожиданно появившийся писарь Аннион.— Чего не видали?

— Господин сержант, — сказала тогда решительным голосом старуха. — У него, — она повела головой в сторону старика, — у него есть корова...

Старик сделал бросок грудью вперед.

— Корова! — кричал он. — Тоже корова! Если бы вы видели мою рыжую, господин сержант! Она не больше козы, ребра можно пересчитать у ней. Даже немцы отказались от нее. Какой от нее прок?

Но старуха тоном патриарха, который восстанавливает справедливость, сказала:

— Пускай твоя рыжая — тощая корова, но кое-какой навоз она дает. А моя дочь не имеет ничего. А теперь весна... Удобрение нужно.

— Ну и что? — кричал Аннион. — Удобрение! Какого чорта вы сюда при-

перлись ссориться из-за вашего удобрения? Другого места нет? Пошли вон!

Аннион стал толкать их всех троих в спину, когда на дороге показался штабной автомобиль. Капитан и двое молодых лейтенантов, не торопясь, подошли к нашей группе. Солдаты расступились и стали жаться по сторонам. Женщины умолкли, старик вытянулся по-военному и взял руку к козырьку. Офицеры направились к аэроплану.

Тогда мы вспомнили о мертвом летчике. Он лежал вытянувшись. Его обыскали и забрали документы.

— Закопайте его, — сказал офицер.

Но к нему подошел старик.

— Господин капитан, — начал он, — позвольте представиться. Я — мсье Гастон Массар, бывший владелец «Галльского Петуха», ныне разоренный по условиям военного времени. Я обращаюсь к вам с почтительной просьбой...

Старуха не дала ему сформулировать просьбу. Она резко оттолкнула его в сторону.

— Господа офицеры, — сказала тогда молодая, — я имею больше прав. Мой муж сражается на фронте в пехотном полку. Сейчас он ранен и лежит в госпитале...

Но ее оттолкнул старик.

— Господа офицеры, — быстро вставил он, — покуда в армии есть драгуны, ее

муж может спокойно валяться в госпитале.

Женщина взвизгнула, как ужаленная. Офицеры рассмеялись.

— Чего же вы хотите? — спросил ее капитан.

— Я прошу вас, чтобы его снесли к нам в горох, — сказала старуха.

Палкой она указала на убитого, а кивком головы на участок на огороде, где в грядах, по-весеннему рыхлых и сырых, торчали палки, обвитые жилками пересохшего прошлогоднего гороха.

— Зачем вам? — спросил капитан.

Женщины бросились объяснять обе. Выделялся торжественный грудной голос молодой.

— Видите ли, — сказала она, — варвары увели у нас скот, так что мы ничего не имеем для удобрения. Прямо несчастье. А тут все пехота стоит, — взять негде! В других деревнях хоть артиллеристы. А у нас все пехота и пехота! А теперь весна... Самый сезон... Так что, вы понимаете, господин капитан. Мы вас очень просим...

МИЛЛЭ И НЕЗАМЕТДИНОВ

I

Уфимский татарин Незаметдинов приехал во Францию в поисках заработков всего за несколько недель до войны. Он работал на угольных шахтах под Лиллем. Но уже в первые дни войны город попал в зону военных действий. Незаметдинов бежал. Он бежал в Париж и здесь заголодал. Деваться ему было некуда. Двадцать первого августа, в тот день, когда начался прием в армию иностранных добровольцев, рядом со мной в очереди у рекрутского бюро оказался широкоплечий парень лет двадцати со смуглым лицом монгола.

Это был Незаметдинов. Он беседовал с каким-то веселым курносым русским малым. Говорил он по-русски плохо, был косноязычен и плевался при разговоре.

Мы попали во 2-й маршевый полк Иностранного легиона. Воинскую подготовку нам предстояло пройти в городе Блуа.

Отъезд был назначен на утро следующего дня. Многие русские пришли на вокзал с гармошками, балалайками, пьяные и с присвистом и гиком горланили песни. Приятель Незаметдинова, вчерашний курносый малый, взобрался на крышу вагона и откалывал там камаринского.

— Война! — кричал он. — Воюем! А Бэрлэн!

Французы были в восторге и поили его вином. Впрочем, в пути он расколол себе голову о железнодорожный мост, и мы оставили его труп на каком-то полустанке.

Незаметдинов расстроился. Покойный был его друг. Теперь он один на свете. Он даже хотел остаться хоронить беднягу, но ему не разрешили: мы уже были солдаты. Мы уже не принадлежали себе.

В Блуа, в казармах 113-го линейного, который в то время уже дрался на фронте, нас ждали прибывшие из Африки инструкторы — солдаты, капралы и сержанты Иностранного легиона. Мы впервые увидели легионеров. Это были старые профессиональные солдаты, матерые волки

пустыни. Зной и ветры Марокко, Индо-Китая и Мадагаскара обожгли их лица. У них были острые глаза, точные движения. Повелительно звучали их глухие голоса. Мы смотрели на них со смешанным чувством уважения и тревоги.

Мы с Незаметдиновым попали к капралу Миллэ, небольшому, ловкому блондину с наглыми глазами. Легионеры звали его Шакалом.

— Этот Шакал! Я знаю его давно! Он постучался в ворота полка в Сиди-бель-Абессе лет десять тому назад, на два месяца позже меня, — рассказывал Лум-Лум. — Шакал тогда сразу свалился в госпиталь — незажившая рана. Через полгода он уже угодил на каторгу: у него был разговор с одним кабатчиком в Сиди, и кабатчик умер от ран. Когда впоследствии Шакал вернулся в роту, ему в Анаме дали нашивки. Он вышел в писаря: он грамотный. Но скоро он опять угодил на каторгу: безвременно погибла одна святая и достойная вдова. Она содержала солдатский публичный дом и у ней водились деньги. Улики были против Шакала. Но на этот раз его освободили раньше срока, — он попросился в действующую армию.

Лум-Лум рассказал это, когда за столом было несколько волонтеров из студентов-юристов. Мы готовились стать судьями, и вот нами командует убийца.

— А ты, Незаметдинов,— ты любишь своего капрала?

Незаметдинов Шакала не любил. Незаметдинову военное обучение не давалось. Он был неповоротлив и неуклюж. К тому же он не понимал по-французски. Мы переводили ему слова команды, но он плохо понимал и по-русски.

Миллэ выходил из себя. У него передергивалось лицо. Рубец от уха ко рту — в Аннаме партизан-туземец рассек ему щеку жилой носорога — багровел и сжимался. Миллэ ругал Незаметдинова верблюдом, медведем, бревном, скотиной и падалью.

Незаметдинов был одинок. Татар в полку больше не было, ему не с кем было словом перекинуться на этой страшной чужбине. Родные не знали, где он. Писать домой он не умел — был неграмотен. Я вызвался написать за него, но он отказался. В селе все равно некому прочесть русское письмо. Денег на кабаки у него не было. Мы получали жалованье одно су в день. На эти деньги не раскутишься. Всем помогали друзья или родные. У Незаметдинова не было никого. Он тосковал.

Потом пришел фронт. Смерть скакала вокруг нас на огненных копытах, и белье наше кишело вшами.

Незаметдинов попал в первую роту, в полувзвод, который звали «вавилонским»,

потому что там не было и двух человек, говоривших на одном и том же языке. Одиночество сделало татарина мрачным. Никто не знал, да и не хотел никто знать, о чем думает этот робкий, непьющий, молчаливый гигант.

Не помню, по какому поводу он был переведен к нам в роту и определен в мой взвод. Он обрадовался: нас было несколько русских.

Но здесь Незаметдинов снова попал к Миллэ.

Капрал не мог простить ему, что он не знает устава и неуклюже проделывает ружейные приемы. В руках Миллэ винтовка ничего не весила. Она повиновалась ему, как монета фокуснику. А Незаметдинов, не понимавший команды, не умел даже брать «на караул». Он вскидывал винтовку на плечо, как бревно; опуская к ноге, он едва не ломал приклад.

Горькие казарменные дни вернулись к Незаметдинову на самой линии огня. Капрал придирался к нему, ставил во внеочередные наряды и дежурства и давал поручения вроде: «пойди, отыщи ключи от окопа первой линии». Миллэ говорил быстро, как из пулемета. Незаметдинов не разбирал ни слова. Только по лицам товарищей видел он, что капрал над ним издевается. Однажды ночью я услышал плач.

— Чего ты ревешь, Незаметдинов?
Он забормотал что-то и отвернулся.

II

После ранения я попал в госпиталь Отель-Дье в Париже.

Однажды ночью я услышал возню: артиллериста, у которого оторвало ноги, и альпийского стрелка, отравленного газами, увозили умирать в специальное помещение.

Утром я увидел новых соседей. Это были Рэнэ и Незаметдинов. Мне показалось, что у меня опять начался бред. Прошло три недели, как мы расстались на фронте, и вот я вижу их рядом с собой.

У Незаметдинова перевязана нога. Рэнэ забинтован и обмотан как древняя мумия: перевязки мешали ему говорить и писать. Он с трудом нацарапал на клочке бумажки записку:

«Наши артиллеристы — свиньи! Они укоротили прицел и посолили нас шрапнелью, когда мы обедали. Кроме нас, ранены капрал Миллэ (и я очень рад) и Бейлин. Не знаю, куда их эвакуировали».

Незаметдинов ничего не сообщил. Ему было не до того — очень болела нога.

Радость нашей встречи прошла через пятнадцать минут. Больничная скука сме-

нила окопную. Обходы врачей, мучительные перевязки, вонь, стоны, плач, бред, скверная еда.

— Зачем на война пошел? — неожиданно спросил молчаливый Незаметдинов.

Я сначала подумал, что вопрос относится ко мне.

— Долго рассказывать, — ответил я.

Но я ошибся: Незаметдинов заговорил не по-татарски, а по-русски, потому что это была его манера обращаться ко всему миру. Вопрос относился к нему самому. Это самого себя с упреком и горечью спрашивал Незаметдинов:

— Зачем на война пошел?

Он часто повторял этот вопрос.

Когда нас троих выписали и отправили в депо на формирование, мы снова попали в Блуа — туда же, где проходили подготовку.

Вот он опять, старинный город! Тихая провинция, жареные улитки, голубое небо Турени, фруктовые сады, мелководная Луара, рагу из кролика! И непобедимые патриоты в мелочных лавочках, кофейнях и биллиардных.

Вот они, знакомые казармы 113-го полка! Вот она, базарная площадь, где мы производили ученье! Невысокие, но крепкие дома мягкой романской архитектуры все так же окружают ее; сады, церковь с высокой колокольней.

Но еще выше церкви деревянное здание хлебных складов. По утрам в телегах, запряженных ослами и крутоспинными арденами, все так же приезжают на площадь дородные крестьяне в широкополых шляпах и синих блузах и крестьянки в высоких корсетах и сарпинковых кофтах.

На фронте убивают их сыновей. Такова воля божья. Но не всех забывает господь. Иным он посылает великое и светлое утешение: город и война щедро платят за зерно, за овощи, за сено. Крестьяне все так же прячут за пазухи тугие кошельки и заходят в церковь — оставить денежку богу. Они подкрепляются коньяком в базарных трактирах и уезжают назад в свои сытые деревни, в прозрачную и богатеющую Турень.

Вот они, крутые переулки, по которым мы некогда ходили на стрельбище, за Луару. Небо еще не успело налиться своей густой синевой. Оно еще стояло бледное в эти ранние часы, прозрачная голубизна была ясна и светла, как это бывает только в Турени.

Запевало Массар откашливался, когда мы подходили к мосту. В его мягком грудном баритоне возникали образы других солдат, которые ходили по этим переулкам и пели песни задолго до нас. Под этими балкончиками, обвитыми плющем, солдаты первых Валуа прощались с неверными кра-

сотками, отправляясь воевать во Фландрию или Пиренеи. Мушкетеры скрещивали шпаги на этих узких тротуарах. Гасконские кадеты бились в этих темных кабачках...

Переулки еще спали. Мы врывались в них, грохоча тяжелыми башмаками по мостовой.

Разбуженные жители просовывали головы в окошки. Иногда мы видели хмурое лицо буржуа, взбешенного тем, что потревожен его утренний сон. Иногда высовывалась голова старухи, усталой от жизни, или показывались еле прикрытые крутые плечи красавицы, и глаза, полные тоски и жадности, измеряли блеск и длину наших штыков.

Наш командир, старший сержант Бартоломэ, молодой и горячий красавец, который любил свежие утра, стрельбище, кабаки, женщин и песни, командовал равнение.

Отряд резко поворачивал глаза в сторону красавицы и ее плеч и триста здоровых мужчин откликались единым вздохом:

— Эх-х-х!

Да, Блуа! Здесь война встретила нас своей романтикой.

Посмотри клинок мой!
Он — как стебель розы.
И вино смеется
В толстых кувшинах!

Прошло уже почти два года! Сколько товарищей убито! Сколько сошло с ума!

Здравствуй, Блуа!

Дня через три после нас прибыл из госпиталя Бейлин. Еще через два дня появился и Миллэ.

— Я рассчитывал, что Шакал околеет, а он жив. Значит, бога действительно нет, — сказал Рэнэ.

Начались томительные дни тыла — учение, словесность, переклички, проверки, смотры, просмотры и ревизии. Особенно тяжко было Незаметдинову: нами командовал Миллэ.

III

К нам в гости из госпиталя, находившегося неподалеку от казармы, нередко забредали легко раненые и выздоравливающие.

Артиллерист, раненный в ногу, появлялся, опираясь на плечо марокканского стрелка Гуссейна. Пуля попала Гуссейну в правую щеку и прошла навылет через левую, раздробив зубы и изувечив язык. Гуссейн засорил рану, образовалось нагноение, пришлось оперировать. Перевязка окутывала ему всю голову. Открыт был только угол красивого рта, шелковистый ус и растерянный правый глаз. Гуссейн

усаживал артиллериста на лавочку, а сам опускался рядом на корточки по-восточному. Он молча просиживал так до тех пор, покуда артиллерист не возвращался назад в госпиталь.

Когда артиллерист поправился, он стал приходить один. Гуссейна мы долго не видали. Он был переведен в разряд выздоравливающих и пришел к нам уже не в больничном халате, а в своей пышной и живописной форме. На нем была шешия с кисточкой, синяя короткая куртка-болеро с шитьем и необычайной ширины шальвары, похожие на две юбки, — пышный колониальный сероуаль. Перевязка была снята, лицо открылось. Но рубец перекосил бедняге левую щеку и рот. Шелковые усики сделались жалки. В глазах осталось неловкое и испуганное выражение. Простреленный язык плохо ворочался во рту: вместо слов получалось нечленораздельное мычание.

— Мир! — повидимому, хотел он сказать.

— Мир тебе, военный! — ответил я.

Он поклонился.

— Мир и хлеб! — сказал я. — Садись, Гуссейн! Ты наряден сегодня.

Даже в своей живописной военной форме Гуссейн испытывал непреодолимую скованность в обращении с нами: мы были белые, «франки», а он всего только про-

стой кабилл. Прежде чем опуститься на землю рядом с нами, он спрашивал позволения.

Необъятные шальвары вздули облако пыли и, распластываясь, широко покрыли подогнутые по-восточному ноги.

— Чистый турка! — сказал Ванька Кирюшкин, волонтер из батальона F. — Какой ты веры?

Кирюшкин был рязанский, по-французски он не говорил.

— Слышь, Гуссейн, ты ж какой веры? Не понимаешь? Ну, религион твоя какая? Крещеный?

Кирюшкин показал крестик. Гуссейн понял и отрицательно покачал головой.

— Нет, говоришь? А что? Ты, может, жид или вроде, как бы сказать, еврей? А? Ребяты, какой они веры, арапы, а?

Кирюшкину объяснили, что Гуссейн — магометанин.

— Мухоедан, говоришь? Значит, с Незаметдиновым одной веры? Эй, Ахметка! Куда, чорт драповый, поделся?

Кирюшкин убежал и через несколько минут привел Незаметдинова.

— На, получай! — кричал он ему на ходу. — Твоей религион человек! А ну-ка, ну, поговори с им!

Кирюшкину было жаль одинокого татарина. Он обрадовался, когда нашел ему товарища.

На Гуссейна Незаметдинов смотрел неподвижными глазами.

— Твоей веры, Незаметдин! Одного вы бога люди! — теребил его Кирюшкин.

Мы уже встречали на фронте немало земляков Гуссейна, но никому не приходило в голову искать среди них друзей для Незаметдинова.

— Селям алейкюм! — почти машинально произнес Незаметдинов. Но Гуссейн ответил только мычанием.

— Эх, беда, немой он! Мычит! — сказал раздосадованный Кирюшкин.

Но счастливые глаза Гуссейна говорили яснее, чем исковерканный рот. Араб вскочил на ноги, по-восточному поклонился Незаметдинову и стал возбужденно жестикулировать и мычать.

Кирюшкин был захвачен возбуждением Гуссейна. Он суетился и хлопал себя по коленям. Его раздражало, что Незаметдинов так медленно и туго соображает, какая чудесная получилась встреча.

И все же эти два человека подружились.

В час, когда кончалась военная учеба и падал городской шум, Гуссейн приходил во двор казармы. Приятель поджидал его у ворот. Солдаты рассыпались по кабакам или по улицам — заводить знакомства с женщинами. Эти двое не уходили никуда. В кабаки их не тянуло. О знакомстве с

французскими женщинами они не могли и мечтать. Они никуда не уходили. У них было излюбленное местечко под платаном позади цейхгауза. Они усаживались на траве и молча просиживали рядышком много часов, глядя в небо. Бессловесная близость согревала их. Она помогала им яснее видеть далекую родину.

Табуны степных кобылиц носились перед глазами Незаметдинова. Их стережет отец. Он — пастух. Маленький Ахмет помогает вязать недоуздки. Мать принесла кринку кобыльего молока. Хорошо на родине, в Уфимской губернии!

Хорошо и на берегу Абу-Регрега! Правда, франки вырубили почти всю тамариндовую рощу! Но остался еще ручеек! Хорошо на родине, у Абу-Регрега!

Они просиживали долгие часы — два пастуха, непонятной бурей вырванные из родных деревень и заброшенные под боковой фасад цейхгауза.

В небе появлялись звезды. Табунами паслись звезды в небесных степях.

Каждый видел свое, но когда вечерний горнист дул в свою пронзительную медь, одинаково вырывался вздох из груди Незаметдинова и Гуссейна. Родины нет! Приятели вставали. Надо расходиться.

Они молча брали друг друга за руки, пересекали казарменный двор и молча расставались у караульного помещения.

Успехов в учебе Незаметдинов не делал. Он все так же подымал правую ногу, когда команда подымала левую; он неуклюже переваливался с одного бока на другой, когда взвод пускался бегом. Он не понимал, чего от него хотели.

Кончилось тем, что Миллэ отправил его на «карусель».

— Урок танцев! — сказал Миллэ. — Поумнеешь!..

Опять «карусель»... Штрафной должен с полной выкладкой ходить, пока хватит сил, по кругу. Круг небольшой. Задний дворик всего-то имел метра четыре-пять. Тут и топтались вокруг унтер-офицера.

Миллэ посасывал погасший окурок, сидя в центре круга. Рядом с ним поставили ведро воды — откачивать штрафного, когда тот упадет в обморок.

Обычно на карусели падали через двадцать-тридцать-сорок минут. Но Незаметдинов был парень необыкновенной силы. У него были длинные руки; его неуклюжее туловище сидело на коротких, но могучих ногах. Незаметдинова заставили надеть шинель, ранец, намотать на ранец одеяло, привязать запасные сапоги, палатку, котелок, кухонное ведро, опоясали подсумками и вскинули на ремне ружье. Он выдержал полтора часа хождения по кругу. Миллэ надоело ждать, когда татарин свалится. Он пришел в неистовое бешен-

ство. В ярости он опрокинул ведро и прогнал Незаметдинова вон.

— Завтра с утра продолжение! Пока не поумнеешь!..

Гуссейн стоял у чугунной решетки казарменного двора. Он смотрел и громко мычал от злобы и возмущения. Караульный сержант прогонял его, но он возвращался и еще громче орал и жестикулировал.

Незаметдинов добрался до казармы, снял облачение и упал на койку лицом вниз. Незаметдинов понял, что его обидели.

Во дворе заверещали свистки сержантов. Надо собраться на ученье. Выведя нас к лесной опушке, Миллэ стал показывать свои излюбленные приемы — отражение кавалерии.

Со стороны леса, из-за поворота неожиданно показался автомобиль. Машина спустилась с холма и быстро приближалась к нам. Миллэ стоял на узкой дороге, у самой канавы. Стало очевидно, что машина правым колесом собьет Миллэ. Я переглянулся с Незаметдиновым. Он тоже видел это. Его глаза горели. Нам обоим стало страшно. Миллэ стоял спиной и не видел. Если он успеет переменить позу, все пропало. Нет, не успеет! Автомобиль катит без сигналов, с быстротой снаряда. Миллэ будет искалечен.

— Кавалерия спр-р-рава!

Миллэ изогнулся и снова застыл, выставив одно колено и держа винтовку над головой.

Капрал улыбался. Он все понимал. Он понимал, что должен быстро броситься в канаву, иначе гибель неизбежна. Он чуял, что мы все этого ждем. Но в какую-то ничтожную долю мгновенья, рассчитав расстояние, он решил не двигаться с места. Мы напряженно смотрели ему в глаза. В блеске глаз шел поединок между нами. Прыгнуть в канаву — значило для Миллэ проиграть...

Миллэ остался в позиции «кавалерия справа».

Автомобиль несся полным ходом. Штабные офицеры летели куда-то в сторону Орлеана. Машина задела Миллэ крылом, порвала шинель и укатила.

Миллэ неспеша приколол английской булавкой край шинели и спокойно, не меняя тона, вызвал Незаметдинова:

— Кавалерия слева! Делай!

Его голос все же был сдавлен. Все, даже Незаметдинов, в этот день проделывали приемы с какой-то особой торжественной чистотой. Занятия продолжались в тишине. И только когда мы подходили к казарме после учебы, Миллэ снисходительно улыбнулся и, глядя на меня, Рэнэ и Бейлина, сказал:

— Все вы умные!.. Дипломированные!.. Вот что надо иметь, если хочешь быть умным в жизни!..

Он распахнул шинель и куртку и показал нам грудь и живот, испещренные татуировкой и целой системой шрамов и рубцов.

В этот вечер Незаметдинов и Гуссейн ушли куда-то. Их видели на Луаре. Забившись в кусты на пустынном берегу, они в час намаза расстелили куртки. Они плакали, и после молитвы Гуссейн громко выл.

В этот момент неожиданно раздался надменный и веселый смех Миллэ: капрал пришел на речку купаться и, спрятавшись в кустах, долго наблюдал. Парни бросились бежать. Это еще больше развеселило капрала.

— Беременные курицы! — кричал голый Миллэ им вслед.— Плаксивые коровы!.. Мамзели!..

И специально для Незаметдинова:

— Тюлень с клистиром!

В конце вечера оба приятеля впервые оказались в кабаке. Новички вызывающе хлопнули дверью, которая сотни раз в день скрипела от ударов наших сапог. Этот день, исполненный горечи и надругательств, точно перестроил их. Они будут сидеть в кабаке, горланить песни, пить и ругаться! Они — солдаты! Пусть попробуют их тронуть!..

Незаметдинов, хватив залпом бокал абсента, сразу охмелел. Он смеялся и плакал и приставал ко всем и даже к хозяйке, мадам Бигу, с просьбой перевести ему на французский язык русские матюки: он их скажет капралу.

Снова с шумом распахнулась дверь. Вошли двое рослых арабов — спаги. Один — лет тридцати в черной окладистой бороде, другой — еще юноша с еле пробивающимися усиками. Их встретили хохотом и громкими криками: это была знаменитая пара. Их звали «двое воняющих спаги». Они уже дня четыре находились в Блуа и шатались по кабакам, повсюду нося с собой невыносимый запах разложения. Их знали во всех кабаках.

Они оба были легко ранены. В лазарете на них обратили внимание из-за мучительного запаха. Однако выяснить причину его не удавалось: арабы подставляли под перевязку один — рану на лбу, другой — рану на ноге и тотчас уходили из госпиталя. Они тщательно охраняли свой вещевой мешок и поочередно носили его под бурнусами, не расставаясь с ним ни на минуту. Санитары пытались их раздеть, но арабы всякий раз, когда к ним приближался кто-нибудь, кроме врача или сестры милосердия, вытаскивали ножи. Начальство махнуло на них рукой.

Арабы прошли между столиками. Все

шарахались от них по сторонам. Их привлекла униформа Гуссейна, они подсели к земляку. Оба спаги были уже навеселе и преувеличенно громко разговаривали на своеобразной смеси африканских и европейских языков.

Бейлин подсел поближе и стал внимательно их разглядывать.

Арабы пили много, подливая коньяк в абсент. Смесь подействовала быстро. Старший, бородатый, скоро сделался сентиментален и нежен. Он обхватил голову Гуссейна, прижал ее к себе и насильно влил ему в рот стакан пойла. Гуссейн закричал от боли. Он на минуту поднял лицо, и я увидел его глаза. Спирт обжег ему простреленный язык. Гуссейн царапал себе лицо. Мычание неслось из его перекошенного рта.

Внимание всего кабака сосредоточилось на Гуссейне. Тогда Бейлин воспользовался моментом. Он запустил руки под бурнус бородатого спаги, добыл вещевой мешок и извлек содержимое. Это была мертвая голова. Побледнев от неожиданности, он высоко поднял ее и стал раскачивать над столами. Это была голова белокурого человека, немца. Лицо было иссиня-зеленым. Но один ус продолжал торчать кверху, и голубые глаза смотрели остеклянело, как на параде. Бородач-спаги хранил голову в сумке, чтобы привезти трофей домой на

зависть всем берберам, которые на войну не попали и безнаказанно отрезать голову белому человеку могли только в мечтах.

Бейлин стоял пьяный и обезумевший и раскачивал мертвую голову. Солдаты не проронили ни звука. Тишину нарушало только сдавленное мычание Гуссейна. Вдруг молодой спаги ударом кулака в живот сбил Бейлина с ног. Мертвая голова упала на стол, опрокинула бокалы, стаканы и бутылки. Тогда возмутилась мадам Бигу.

— Что это еще за безобразие?

Голова докатилась до Незаметдинова. Бородач-спаги хотел схватить свое добро и спрятать, но Незаметдинов уже заметил, что мертвая голова похожа на голову Миллэ. Точно осатанев, он сбросил ее наземь и стал топтать ногами. Он захлебывался, плевал, сопел и кричал. Мы могли разобрать только имя Миллэ, которое он все повторял.

В этот день Незаметдинов впервые в жизни понял, что его обижают.

Почему вдруг открылись у него глаза?

Жизнь его была непонятная, страшная жизнь, исполненная бессмысленного труда, лишенная радостей. Она впутала его в войну, о которой он не знал, между кем и во имя чего она происходит.

Незаметдинов выл. Кто-то губил его жизнь, он понял это.

Пьяный бородатый араб, еле держась на ногах, подошел и ударил его кулаком в лицо. Молодой присоединился. Его удар попал Незаметдинову в живот. Незаметдинов успел ответить несколькими страшными ударами, но вскоре арабы сбили его с ног. Тяжело дыша, он лежал на полу в луже абсента.

— Убьют мухоеданы Ахметку! — озабоченно сказал Кирюшкин. Он взобрался на стол и грузно прыгнул обеими ногами на арабов, катавшихся с Незаметдиновым по полу. Через минуту драка в кабаке сделалась всеобщей. Крики волонтеров — испанцев, турок, евреев, англичан, мычание Гуссейна, матерщина Кирюшкина, тяжелая гортанная брань арабов, звон битой посуды, стук опрокидываемых столов и скамеек, вой и визг мадам Бигу повисли над нами, как испарина.

В кабак вошел капрал Миллэ. Мадам Бигу кинулась к нему с рассказами, что драка началась из-за «двух воняющих спаги», что легионер мсье Бэлэн вытащил у них из мюзетки мертвую голову и что теперь ей понятно, почему они всегда так жестоко пахли. Она рассказала также, что легионер, который пришел сегодня впервые в обществе немого марокканского стрелка, раздавил голову ногами и прибавила, что при этом он все время приговаривал имя мсье капрала, что невероятно

огорчило ее, ибо мсье капрал должен знать, что ее фирма не то место, где младшие могут позволить себе непочтительность в отношении своих начальников.

Миллэ рассмеялся. Потом он стал деловито застегивать куртку. Он собирался вступить в свалку. Но двое рослых полицейских, привлеченные шумом, шедшим из кабака, показались на пороге.

На другой день почти все участники драки сидели под строгим арестом уже с самого утра. Одним арабам ничего не сделали: они носили ножи. За них ответил Гуссейн: его лишили права отлучаться со двора на все время пребывания в госпитале. Бейлин, я, Рэнэ и Незаметдинов сели на десять суток.

Не все мы отнеслись к аресту одинаково. Меня, Рэнэ и Бейлина это приключение даже рассмешило.

— Утешимся, коллеги, той мыслью, — смеясь, предложил Рэнэ, — что величайшие юристы древности тоже знали невзгоды и гонения. Так, например, достопочтенный Кужаций, имя коего красуется на одном из самых людных кабаков Латинского квартала...

Бейлин перебил его:

— Не говорите высокопарно, доктор! Кабак имени Кужация — увы! — все, что знают некоторые юристы о великом вожде элегантной школы. Когда их спрашивают

на экзаменах о глоссаторах и бартолистах, они неопределенно мычат. Так, кажется, было с вами, Рэнэ?

Мы все трое ушли на войну с университетской скамьи, оставив недописанными докторские диссертации. Защита должна была состояться в ноябре. Она не состоялась: в ноябре мы защищали Францию. Это выглядело так благородно! И вот ученые кандидаты сидят под арестом за пьяную драку в кабаке.

Незаметдинов повалился в угол, лицом к стенке. Так пролежал он все время.

— Зачем на война пошел? — тяжело вздыхая, повторял он иногда по-русски.

— Вполне основательный вопрос, — заметил Рэнэ, которому я перевел слова Незаметдинова. — Говоря высокопарно, война ворвалась в нашу жизнь с музыкой славы, и мы ее приветствовали. Что думаем мы, нижеподписавшиеся, о войне теперь, когда понемногу выяснилось, что музыка затягивается и что слава — это вши, гнилая солома и тухлая баранина? Говоря без высокопарности, слава, это — капитан Персье и капрал Миллэ. Первая конференция по вопросу о войне как о средстве для освежения комнатного воздуха в государстве собралась в Циммервальде, вторая — в Кинтале. Сейчас собралась третья — в Блуа, на гауптвахте 113-го линейного.

Объявляю заседание открытым. Предлагаю мандаты считать проверенными.

Председатель оставался единственным оратором.

— Возьмем, коллега, вас!

Рэнэ обращался ко мне.

— Вам так шел длиннополый черный сюртук. И вот вы носите куцую пехотную весту и колониальный шарф. Вы не вылезали из библиотеки, а теперь вас знают только в кабаках. Прекрасно! Но солдат ли вы, доктор? В ранце у вас лежит томик стихов Альфреда де-Мюссэ и в сторожевом охранении вы читаете «Майскую ночь». Она написана о любви и грусти. Как вы думаете, коллега Бейлин, почему ушел на войну наш достопочтенный и ученый друг? Не растерялся ли он в выборе между точеными ручками мадемуазель Эсперанс и сумасбродным очарованием этой рыжей русской аристократки, как ее... мадам Ксэния?..

— Впрочем, я шучу, — сказал он после маленькой паузы. — Вы говорили, что пошли на войну добровольцем, потому что вы — еврей и вам хотелось своим примером протестовать против дурацких антисемитских законов вашей России и доказать, что евреи тоже умеют быть храбрецами. Довольно глупо!

Рэнэ я знавал еще в университете. Это был старательный, трудолюбивый и спо-

собный студент. Один был у него недостаток — нищета. Она сделала трудными его студенческие годы. Она зашвыряла острыми камнями все его дороги.

Война взрывала тесный мир, в котором он задыхался, и он пошел в армию.

Молодой, красивый, жизнерадостный и образованный студент обратился в грязного, завшивевшего солдата. Три креста, отмечавших три геройских подвига, прикрывали три тяжелых ранения. Война кончится. Раны останутся.

Бейлин молчал в углу.

Почему пошел на войну Бейлин? Он был эмигрант. После бури 1905 года его выплеснуло во Францию. Восемь лет ел он горький хлеб изгнания. Когда вспыхнула война, он вошел в группу «русских республиканцев».

Несколько сот меньшевиков, бундовцев, социалистов-революционеров сняли пустовавшее помещение кинематографа на улице Тольбиак и с утра до вечера упражнялись там в военной мудрости. Они учились строиться, маршировать, накалывать чучело и стрелять лежа.

На войну они ушли с песнями революции.

«За демократию!» «За цивилизацию!..»

Газеты, захлебываясь, писали об энтузиазме «русских нигилистов». «Кто бы подумал, что люди, гонимые, преследуемые,

всю жизнь боровшиеся с правительством своего царя, что эти люди окажутся столь горячими патриотами! Вот оно что значит, когда война ведется за право и справедливость!..»

Кто-то из них, окруженный на улице восторженной толпой, вместо ответа на патриотические клики, поцеловал свою винтовку и, потрясая ею над своей головой, кричал, как и все:

— А Бэрлэн! А Бэрлэн! Вив ля Франс!

На фронте они показывали чудеса самоотверженности. Друг Бейлина, член боевой организации партии социалистов-революционеров, рядовой нашего полка Попов был врач по образованию. Начальство Легиона предлагало ему должность батальонного лекаря. Он отказался. Товарищи настаивали, он все же отказывался. Попов говорил, что хочет быть «ближе к народу в годину его бедствия», и грозил самоубийством, если его назначат врачом.

К тому времени, когда в Краоннеле Попову оторвало голову, он уже оброс густой солдатской бородой.

Командование отмечало храбрость русских волонтеров, особенно из политической группы. Но что скрывалось за этой храбростью, за этим страстным вызовом смерти?

В сырости и скуке окопных ночей головы у многих стали свежеть. Люди, приез-

жавшие из тыла — из госпиталей, лазаретов, запасных батальонов, — рассказывали, какая новая сила возникла в стране. Среди бедствий народа, который трудился и воевал, мародеры, спекулянты, поставщики, маклера смерти наживали состояния...

Златой телец возвышался на площадях городов, и ему совершались курения.

Бейлин был из тех, которые уже начали понимать. Бейлин уже начал понимать, что узкий и неглубокий окоп, в котором он гнил, был, в сущности, головокружительной пропастью. Он понимал, что годы подполья, изгнания, тюрьмы, каторги, ссылки, весь восторг революционной борьбы, который пережили он и его товарищи, лежат поруганные на дне этой пропасти и никогда, никогда не подымутся.

Бейлин понимал свою ошибку. Но революция уже была брошена под ноги сержантам, и возврата не было.

— Что же вы молчите, коллега Бейлин?

Бейлин уклонился от участия в третьей конференции о войне, собравшейся на гауптвахте 113-го пехотного полка.

Не выступил также и Незаметдинов. Он лежал лицом к стенке.

— Зачем на война пошел? — все повторял он кряхтя.

Было тихо. Рэнэ бросил свою веселую

трескотню. Он стал грустен. Мы все были грустны.

Кто-то сунул нам в руки штыки и ружья. Книги перестали быть нужны.

Десять суток ареста протекали медленно. Утром одиннадцатого дня мы стояли в строю.

Миллэ за это время вышел в сержанты. Две маленьких красных нашивки на рукаве сменились золотой «сардинкой».

Миллэ командовал теперь уже целым взводом.

Он стоял перед нами на обычном месте позади хлебных складов, самоуверенный и надменный. Он стоял как сила, от которой никуда не уйти.

4 ЛОРАНО 4

I

Мы возвращались с Лум-Лумом из Мюзон, из интендантства. Нам оставалось не больше трех километров до бивуака, уже были видны Большие Могилы, когда над нашими головами разорвалась шрапнель, а за ней другая и третья.

— Самовар! — воскликнул Лум-Лум. — Этак у Больших Могил вырастет два новых деревянных креста. Сворачивай.

Мы сбежали на противоположный склон холма и пошли боковой дорогой. Впереди лежала одинокая усадьба, обнесенная высокой каменной стеной. Я давно знал эту

усадьбу: здесь жил какой-то музыкант — быть может, несколько. Мне часто приходилось проезжать мимо на велосипеде — отсюда был поворот в штаб бригады — и часто я делал остановку, чтобы послушать музыку. Иногда играли на пианино бурные цирковые галопы и борцовские или военные марши, иногда кто-то баловался на гармошке, волынке или окарине. Но лучше всего бывало, когда пианист исполнял произведения старых французских композиторов.

Входить в дом я не решался, полагая, что там квартируют офицеры. Я слушал, сидя под платаном у ворот.

Лум-Лум толкнул калитку ногой, и мы вошли в большой, просторный, но запущенный двор. Навоз прел на солнце и мусор валялся повсюду.

Посреди двора стоял громадный зеленый фургон — целый дом на колесах, с окнами, дверьми и даже с дымовой трубой. В таких домиках разъезжали бродячие цирки.

У фургона сидел на камне громадного сложения усатый мужчина лет пятидесяти в пестрых клетчатых штанах.

Лум-Лум с хитрой скромностью попросил кружку воды.

— Какая там вода?! — улыбаясь, сказал усач. — Зачем вода? Заходите в дом! Найдется и получше!

— Вот таких я люблю! — шепнул мне Лум-Лум. Едва мы сделали три шага, как чей-то веселый голос прокричал из сарая:

— Да здравствует Легион! Заходите, старики, в дом! Я сейчас сыплю за вами.

И тотчас, передвигаясь на руках, вооруженных деревянными утюгами, из сарая выкатился безногий обрубок. Он был в голубом гусарском доломане и в кивере набекрень. Живые глаза весело поблескивали на красивом молодом лице, и черные усики были подкручены лихим гусарским колечком. На груди обрубка красовался орден.

Калека передвигался с необычайной поспешностью, нервно дергая плечами и мотая головой.

— Привет и братство! — воскликнул он, подавая нам руку. — Прекрасно сделали, что завернули. Я ведь сейчас не вылезаю из дому! Заходите, старики!

Говорил он так же нервно и возбужденно, как и двигался.

В доме пианист играл одну из своих грустных мелодий.

— Ничего, — сказал гусар, — сейчас я прикажу брату, чтоб перестал шуметь. Эй, Жильбер! Освободить подпругу!

И, обращаясь к нам, прибавил:

— С тех пор, как немцы, видишь, отдавили мне мозоли, он стал играть все какую-то ерунду на кокосовом масле.

Мы вошли в дом. Пианист сидел спиной к дверям. Играть он перестал, но к нам не обернулся.

— Жильбер! — сказал гусар. — У нас гости! Солдаты Иностранного легиона! Туш!..

— Здравствуйте, мсье, — негромко сказал музыкант, попрежнему не оборачиваясь.

— Так что, если хочешь играть, то давай повеселей чего-нибудь. А мы тут разопьем бутылочку!

Гусар вытер пот со лба, потом снова насадил кивер поглубже и даже неизвестно зачем опустил подбородник.

— Садись, Легион! — обратился он к нам. — Какой полк? Второй? Гарнизон в Сиди? Знаю. Мы там работали. Дыра! Ах, вы не оба из колоний? Ты — волонтер военного времени? Студент? Русский? Здорово! Слышишь, Жильбер, приятель — русский! Да здравствуют союзники!

Обрубок говорил быстро, громко и не умолкая.

Вошел усач.

— Слышишь, отец! Этот легионер — русский! — представил меня гусар.

— О, я очень счастлив, мсье, — учтиво сказал усач. — Вы в самом деле желанный гость! Эй, Луиза! Эй, мать! Смотри, какие гости у нас. Русский доброволец! Вот это союзник, так союзник!

— Сейчас иду! — послышался женский голос из кухни.

— Рассказывай пока, — настаивал гусар. — Много у вас в России солдат? А царь — храбрый? А? Ты, вероятно, здорово его любишь? А? Говори!

Гусар забрасывал меня вопросами.

— Да, да, мсье. Расскажите нам в самом деле про Россию, — поддержал и пианист.

При этом он, наконец, обернулся.

Это был юноша лет семнадцати с болезненно-светлой кожей лица. Влажные, слегка приоткрытые губы обнаруживали несколько испорченных зубов. Юноша улыбался, у глаз ложились добрые и наивные складки, но оба глаза, странно выдаваясь из орбит, были закутаны в мутную желто-голубую пелену. Юноша был слеп.

— Да, он не видит! — сказал усач, заметив, что мы с Лум-Лумом смутились от неожиданности.

— Но это ничего не значит! Он зато слышит за двоих! — весело поправил гусар. — Жильбер! Садиться-а-а-а!.. — произнес он в растяжку тоном кавалерийской команды. Дотащившись вплотную до слепца, он ткнулся ему грудью в колени. Слепец схватил его подмышки и поднял. Гусар подтянул стул. Впрочем, он тотчас повернулся на стуле лицом к спинке и, держась за нее, как ребенок, сполз назад наземь.

— Про вино-то я и забыл! Сидите, бородачи, здесь. Я только сбегаю в погреб и сейчас назад. Я — мигом.

Шаркая по полу задом, обшитым кожаной подошвой, и стуча утюгами, он скрылся за дверью. В другую дверь вошла высокого роста, красивая, не очень уже молодая женщина. Она была затянута в высокий корсет и носила полугородское, полукрестьянское платье.

— Зачем отпустили Марселя в погреб? Ведь он свалится когда-нибудь и убьется, — встревоженно сказала она и тотчас, сама себя перебивая, обратилась к нам с Лум-Лумом.

— Здравствуйте, господа! Я счастлива видеть вас у себя! Простите мой вид! Это не зрелище для глаз героев — старуха в грязном платье. Я готовлю обед.

Вид у хозяйки был вполне опрятный. Хозяйка кокетничала. Это нам нравилось. Какая странная семья!

Из коридора слышался голос гусара. Он напевал солдатскую песенку:

Одно су в день —
Не много для солдата.
Да, да! Какая это плата?!
Вино дороже!
Винца уж нам не пить!

Гусар стучал своими колодками в форме утюгов и шаркал. Однако слова знакомой песни доносились четко.

Одно су в день —
Не много для солдата.
Да, да! Какая это плата?!
Любовь дороже!
Нам женщин не любить!..

За спиной у гусара, в мешке, остроумно прикрепленном к кушаку, оказалось шесть бутылок вина. Очевидно, седьмую гусар вылизал в погребе: глаза у него блестели, как пуговицы, лицо было красное и кивер съехал набок.

Выставив бутылки на стол и снова подойдя вплотную к брату, он ткнулся ему грудью в колени. Тот поднял его и молча посадил на стул.

Гусар стал разливать вино в стаканы:

Всадники, быстро
Седлайте коней!
В поле галопом
скорей!.. —

скомандовал он, ударил своим стаканом о мой и о стаканы Лум-Лума и отца и залпом выпил.

— Не пей много, дитя мое Марсель, — сказала мать. — Тебе вредно... Ведь скоро надо работать.

Калека не дал ей говорить.

— Освободите подпругу, мамаша! — скомандовал он и снова стал разливать вино.

Калека был из тех людей, которых вино быстро веселит.

— Эй, Жильбер! — кричал он. — Ударь что-нибудь повеселей! Давай фландрскую! Живо-а-а-а!..

Слепец смущенно подвинулся к пианино и стал подбирать мотив, а калека, покачиваясь с правого локтя на левый, запел:

Раз красавец-бригадир
Возвращался из похода.
Он во Фландрию ходил
Воевать за короля.

— В другой раз, Жильбер, подавай мне этот куплет погромче — он военный, — сказал гусар. — А второй можно мягче. Про красотку который.

И заметила его,
Сидя у окна, красотка.
Пальцем сделала ему,
Чтоб поближе подошел.

— Хороша песня, бородачи? А? А тебе нравится, мама?

Слепой играл, усач выбивал такт ногой, а гусар подпевал.

Ах, зачем вы свой мундир
Так стянули портупеей?
Саблю в уголок поставьте,
Сядьте здесь, у моих ног.

— Страшно люблю эту песню, хоть она, в сущности, пехотная. Как раз ее мы пели в эскадроне, когда выходили в бой

в августе девятьсот четырнадцатого под Мобежем. Сидели мы в деревне, в корчме, пили вино, слушали, как в Мобеже ревут пушки, и пели. Вдруг — трубач трубит сбор. Седлай! Рысью! Галопом! Ноги у меня еще были! Здоровые ноги! Это было наше первое дело. Мчимся, сломя голову, к лесочку. Впереди шмыгают немецкие уланы на белых конях. Их трое. Мы за ними! Они от нас! Мы за ними! Триста шагов! Двести! Полтораста шагов! Моя Альма мокрая, я мокрый! Давай улана! Сто шагов! Не я скачу, земля скачет подо мной! Комья летят! Воздух легкий, сабля звенит, ноги здоровые! Хорошо! Вот он, улан! Не уйдет! Куда ему, тяжелому, от гусара уйти? Будет мой! Сам скачу, а в ушах эта песня.

Калека отпил глоток вина.

— Не помню следующий куплет. Она просит бригадира рассказать, как он ходил в атаку на испанцев! А потом последний:

Утром он от ней ушел,
Восемь раз сходив в атаку!
— До свидания, красотка!
И огладил черный ус.

— Ловко? Хорошая песня! Улан уже был перед глазами и вдруг — гоп! Подняло меня на воздух. Пыль, земля, камни, туча! И — хлоп! Я даже не слышал ни

выстрела, ни разрыва! Я очнулся в госпитале. Лежу и, что называется, под собой ног не слышу. Пощупал — так и есть: оторвало! «До свидания, красотка».

Гусар залпом выпил стакан вина.

Повисло неловкое молчание. Мать опустила голову. Отец крутил усы.

— Вот оно как! — буркнул Лум-Лум, но тотчас умолк и он.

Тишину нарушил калека.

— Плевать! — воскликнул он. — Мы им еще покажем!

Пора было прощаться.

— Торопитесь? — спросил гусар. — А то остались бы. У нас сейчас репетиция будет.

— Репетиция?

Лум-Лум взглянул на меня.

— А куда нам, к чорту, спешить? Репетиция! Остались.

Я только собрался спросить, о какой репетиции речь, когда мой вопрос предупредил усач.

— Вы слыхали про Лорано? — спросил он. — Четыре Лорано, четыре? Как же! Мы играли даже в Париже, в цирке Медрано! И, заметьте, мы, действительно, одна семья! Я — борец, мастер тяжелого веса, жена—жонглер, когда-то на проволоке, теперь партерная. Марсель был парфорсный наездник, а Жильбер, наш слепой малыш — он клоун, музыкальный эксцент-

рик. Четыре Лорано, четыре! Мы даже собирались к вам в Россию на зимний сезон четырнадцатого года, в Санкт-Петербург или, как теперь пишут, в Петроград, к Чинизелли. Да вот, война!..

— Это, должно быть, здорово смешно — слепой клоун! — сказал Лум-Лум.

— О, да, мсье! — подтвердил усач. — Публика это ценит. Но сейчас это, к сожалению, перестанет быть трюком. Ведь эта проклятая война дает такое перепроизводство слепых!.. Их уже и теперь до чорта расплодилось, а войне еще конца не видно.

Мы уже были во дворе. Добыв из фургона гири, штанги и другие атлетические приборы, усач принялся за работу. За один конец штанги взялась жена, за другой — слепой Жильбер. Усач легко и без натуги поднял их и стал носить по двору.

— Надо каждый день упражняться, чтобы не забыть ремесла, — сказал он, вытирая пот со лба.

Мадам Лорано извлекла из фургона столик и большой ящик, в котором оказались разные жонглерские принадлежности: мячи, ножи, тарелки, лампы, обручи.

Все это ловко летало в ее руках, сплеталось в воздухе в причудливые фигуры, разлеталось в разные стороны и снова попадало к ней в руки.

Лум-Лум был в восторге.

— Здорово! — восклицал он поминутно. — Здорово! Люблю цирк! Здорово! Она — настоящая артистка, ваша супруга! — сказал он усачу.

Но усач смотрел скучающими глазами.

— Эх, мсье, — сказал он. — Это все чепуха. Это уже не школа, между нами говоря. Мы уже стареем. Наш главный козырь — дети. И, скажу вам, не так Марсель, который, правда, был прекрасным парфорсным наездником, сколько Жильбер. Наш бедный мальчик, который слеп от рождения, делал нам блестящие дела. Блестящие! Мне предлагали оперировать его, попытаться вернуть ему зрение. Но мы все подумали и решили, что это вряд ли будет благоразумно. Что он будет делать зрячий — серьезно говоря? Играть на пианино?! Подумаешь! Музыкантов миллион! И сидят без хлеба! А он делал сборы! Потому что он — не просто хороший музыкант, а слепой музыкант. Это было интересно каждому. Его выводят на арену за руку, он шагает, держа левую руку вперед, как все слепцы, и публика сейчас же настораживается! Белый колпак, красный фальзар, звезды, блестки, стеклярус, лицо белое, нос в десять сантиметров длины и эти глаза! Однажды он споткнулся и упал. Он ударился головой о свое пианино! Грандиозный успех! Ты помнишь, Жильбер, что было?

Это был твой самый удачный день! Гром аплодисментов! И главное, — каждый видел, что это не подстроено, что это — слепец всамделишный. Посмотрите эти глаза! Разве эта мутно-желтая плева оставляет сомнение? Это два сгустка гноя! И вот, когда такой работал на арене, он имел успех и зарабатывал деньги. Это были счастливые времена. О конкурентах мы и не думали. Мы не знали, что будет война.

Юноша опустил голову на грудь. Так и сидел он все время.

Мадам Лорано извлекла из фургона новый ящик. Там были гармошки, флейты, окарины, трубы, мандолины, бутылки, пузырь, приделанный к метле и перевитый струнами. Жильбер играл разные мелодии, то грустные, то веселые, строя при этом гримасы и повторяя клоунские шутки, вроде: «А скажите, мсье, с какой стороны надо дуть в эту кастрюлю...»

Усач, мсье Лорано, поправлял сына несколько раз. Чувствовался старый опытный циркач.

Следующим репетировал калека.

На лужайке стоял большой столб с металлическим кольцом на верхушке. В кольцо была продета цирковая лонжа, то есть длинная веревка с замыкающимся крючком на одном конце. Мсье Лорано привел лошадь в вольтижировочном седле. Калека надел на себя пояс с кольцом. В коль-

цо продели крючок лонжи. Отец легко подняли калеку, посадил в седло и, отойдя к столбу, взял свободный конец лонжи. Калека крепко ухватился руками за петли седла.

— Жильбер, дитя мое, вальс!

Жильбер заиграл цирковой вальс. Мать, отойдя к столбу и пощелкивая шамбарьером, стала гонять лошадь на корде по кругу.

— Ап! Ап!— восклицала мадам Лорано.

Лошадь была хоть и старая, но все еще довольно крепкая. Она сразу взяла крупной рысью. Калека, держась вытянутыми руками за петли седла, был похож на сидящую лягушку. Его трясло и швыряло, но, напрягаясь, он все же умудрялся сохранять устойчивость.

— Но, Лизетта! Но! Но, маленькая! Щелкайте, мама, громче!

Хозяйка защелкала. Жильбер играл вальс. Лошадь взяла рысь еще шире.

— Внимание! — крикнул калека внезапно.

Жильбер перестал играть. Тишина грохнулась на площадку.

Калека медленно выжал туловище на руках и стал на голову, подняв кверху свой безногий зад.

Тишина разрушения стояла вокруг. Развалины покинутой деревни Прюнэ, почти вплотную подступавшие к площадке, пу-

стыми глазами смотрели на обломок человека, которого астматическая Лизетта несла теперь в галопе.

Лошадь сделала круг, другой, третий.

— Браво, Марсель!

— Браво, мой маленький! — наперебой повторяли отец и мать.

Мсье Лорано бросил многозначительный взгляд на нас с Лум-Лумом, как бы желая сказать: «Видали? Каково?»

— Парень с яблоками! — в восторге сказал Лум-Лум. — Люблю таких!.. Ты — артист! Настоящий артист и больше ничего!

Упражнения продолжались.

Но мы не успели заметить, в какой миг лошадь как бы вышла из-под калеки, и он остался в воздухе. Лонжа поддержала его, во-время затянутая рукой отца. Но у безногого не было равновесия. Туловище, подвешенное за пояс, опрокинулось головой вниз.

Надо было поскорей взять калеку на руки и опустить на землю. Это могла сделать мать — ей было ближе, но она растерялась, она держала Лизетту.

— Дура! — крикнул отец и побежал сам, но от этого резко удлинилась лонжа, и туловище полетело вниз. Оно было уже у самой земли, когда усач стал быстро натягивать веревку. Калека взлетел вверх, беспомощно болтая руками.

— Да иди же, наконец, дура! — кричал отец.

Только тогда мать бросила корду и шамбарьер и, взяв на руки туловище сына, бережно опустила его на траву.

Калека лежал, закатив глаза, бледный. Скоро он пришел в себя.

— Легкий обморок, — сказал он, приподымаясь. Он сел, закурил папиросу и скомандовал:

— Повторить!

— Повторить! — сказал вслед за ним отец.

— Нельзя бросать работу на неудаче! Повторить!— покорно согласилась мать.

Упражнение было повторено. Марсель снова был посажен в седло и снова погнал свою Лизетту, снова защелкал бич, снова зазвучал жиденький вальс, снова кобыла перешла в галоп, снова был повторен сигнал «внимание» и в напряженной тишине калека снова взвился на руках, головой вниз.

Когда занятия были окончены и мы возвращались в дом, калека возбужденно прыгал на своих утюгах.

— Ты понимаешь? — выкрикивал он.— Номер задуман так. Я выезжаю на арену прямо из конюшни в полном жокейском костюме и притом национальных цветов: синий картуз, белый камзол, красные рейтузы. Я выезжаю при ногах, — я скоро

получаю ноги. Сижу в седле — ноги в стременах, путлища под шенкелями. Лошадь идет рысью. Я становлюсь на голову, как было показано только что, и на ходу — внимание! Маэстро, дробь! — сбрасываю ноги! Сначала одну, потом другую! Они в штанах и лакированных ботфортах отлетают в стороны. Я остаюсь, как есть — человек с задом. Я сбрасываю камзол и под ним мой гусарский доломан и орден! Трюк? А?

— Трюк! — признал я.

II

— Клянусь тебе — замечательные люди! — говорил Лум-Лум, когда мы шли домой.

Он восторгался всю дорогу.

— Особенно этот гусар! Ты ведь знаешь, старик, я никогда не любил кавалеристов, они хвастуны! Но этот... Он — истинный герой!.. Он настоящий солдат. Он задирает зад кверху и говорит Германии: «А это видали?»

Через минуту Лум-Лум продолжал:

— А родители?! Возьми родителей! Это родители героев! О, они смело могут ждать меня к себе в гости еще раз! А слепой! Он играет польку не хуже, чем эта тыква Жалюзо, который считается горнистом самого командира полка.

Восторг бил ключом из моего друга.

— Заметь, они не хотели ничего взять с нас за вино! — несколько раз повторил он.

Во взводе наш рассказ о циркачах был выслушан без особого интереса. Миллэ, вскинув сухой подбородок, сказал, что я напрасно продолжаю называть безногого гусаром. Миллэ любил точность во всем.

— Раз нет ног, то это даже не половина гусара! — сострил он.

— Ты прав, старый Шакал, — ответил Лум-Лум. — Гусар, который потерял ноги, — потерял все. Если ты, например, потеряешь ноги, будет то же самое — ты потеряешь все. Вот, если тебе оторвет голову, ты ничего не потеряешь. Туг говорят про истинного героя, а ты остришь. По-моему, этот парень — весельчак! Он не то что славный тип! Он — герой! Понимаешь ты это?

Через несколько дней, накануне смены нашей роты, Лум-Лум попросился в ночную разведку. Он вернулся с большой охапкой полевых маков. Маки росли вплотную у немецкой линии.

— Это для твоей красотки? — спрашивали солдаты.

— Лум-Лум женится, ребята!

— Мальчик или девочка? — посыпалось со всех сторон.

— Ты разживись табаку, Самовар, —

сказал мне Лум-Лум, — а я вот им цветы отдам.

Видя, что я не понимаю в чем дело, он буркнул:

— К циркачам-то пойдем? А? Неловко с пустыми руками.

Мы стали ходить к циркачам часто. Лум-Лум сделался там своим человеком. Особенно близко сошелся он с безногим.

Однажды с нами пошел Бейлин.

— Вы говорите, там есть пианино? Схожу и я.

Едва войдя, он сел за инструмент. Буря бетховенских звуков сразу наполнила дом. Пальцы Бейлина бегали по клавишам. Звуки, то громовые, то нежные, раздвинули стены, вылетели из дома и понеслись, кружась и торжественно сплетаясь.

Слепец сидел неподвижно. Он слегка поднял голову и вытянул вперед левую руку, как бы боясь упасть. Он точно нащупывал дорогу в пугавшей его грозе.

Игра Бейлина подействовала на всех четырех Лорано.

Мать закрыла лицо руками. Отец, насупившись, крутил усы, а безногий застыл, положив голову на руки.

Бейлин, захлопнув крышку, встал и, не оборачиваясь, ни на кого не глядя, как лунатик, направился к двери. Мы опомнились, когда он был уже у ворот.

Бейлин не слышал, как я объяснял ему, что невежливо так уходить.

— Надо его извинить, — сказал я. — Он недавно вернулся из госпиталя после тяжелой контузии.

Вечером Лум-Лум ругал Бейлина.

— Ну, чего мне там было оставаться? — хмуро объяснял тот. — Я не люблю инвалидов и калек! Насмотрелся в госпитале. Хватит! Посоветуйте ему, этому вашему наезднику! Он может выгодно использовать свой зад! Верный путь к богатству!

— Что ты имеешь в виду?

— Он собирается сбрасывать в цирке свои ноги на полном ходу лошади и оставаться, как есть сейчас — с одним задом и медалью?

— Ну, и что?

— Так вот, пусть у него на заду будет написано: «Фабрика протезов Жана Дюрана. Лучшие ноги! Все носят ноги Жана Дюрана! Легко! Прочно! Не боится ревматизма!»

— Неплохо завинчено!

— Жан Дюран хорошо заплатит ему за это! — продолжал Бейлин. — Конкуренты будут беситься! Они начнут набивать цену! Пусть только не продешевит!

Бейлин смеялся.

— Пусть не продешевит! Теперь протезные фабриканты здорово наживаются!

Ох, воображаю, и контрактик можно подписать! А как можно держать фабриканта в страхе: «Если вы не прибавите, то я сдам зад другой фирме!» Фабрикант взбесится! Он не захочет видеть другую фирму на безногом заду. Калека получит от фабрикантов за рекламу больше, чем за свой цирковой номер. Вот! Подскажи ему это! Он будет доволен!

Лум-Лум насупился и стал беспокойно пыхтеть трубкой.

— Это верно! — бормотал он. — Это верно! Немало есть таких крабов, которые наживаются на солдатском горе.

Он помолчал, точно с трудом соображая что-то.

— Это простой счет: чем больше ног оторвано, тем больше ног продано! Есть такие, которым выгодно кричать: «Да здравствует война»... Для них это вроде как «Да здравствует коммерция». А? Самовар! Объясни!..

Лум-Лум был мрачен. Он с испугом встречал мысли, которые никогда раньше не заглядывали к нему в голову.

III

Усача и мадам Лорано не было дома.

— Они поехали в Реймс, — сообщил мне Жильбер. — По секрету от Марселя

скажу вам, мсье, — они имеют в виду сделать ему сюрприз: сегодня должны быть готовы его ноги. Но, мсье, если бы вы знали, как папа и мама хотят вас видеть... Вы давно не были у нас... А тут ваш товарищ, мсье Лум-Лум...

Слепец осекся.

— Лум-Лум? Что Лум-Лум?

Жильбер был смущен.

— Понимаете, он стал ходить к Марселю ежедневно и говорить ему такие вещи, которых никакой добрый француз, особенно герой, и слушать не должен.

— В чем же дело?

— Он все смеется над ним. «Ты должен написать что-то, — я уж не помню, что именно, — у себя на заду и требовать деньги с фабриканта ног. Потому что война, — он говорит, — это — коммерция. Чем больше ног оторвано, тем больше ног продано! Тем лучше для торговцев и фабрикантов».

— Ну, а Марсель что говорит?

— Марсель? Марсель сделался мрачен, как ночь. Вчера папа сказал мсье Лум-Луму: «Не забывайте, мсье, что фабриканты и торговцы тоже французы». А мсье Лум-Лум ему прямо так и выпалил: «Вот им и надо рубить головы». Тогда мама говорит: «Видно, вы не католик». А он отвечает: «Я католик и солдат. Но когда я поймаю того верблюда, который нажи-

вается на солдатских ногах, я ему очищу желудок штыком». Так и сказал! Клянусь вам! Главное, Марсель слушает весь этот срам, и у него портится настроение. Он уже три дня не репетирует. Вот посмотрите на них. Они под окном...

Безногий и Лум-Лум сидели на земле, обнявшись. Вокруг валялись порожние бутылки. Оба были навеселе.

— В Германии, — рубил Лум-Лум калеке в самое ухо, — в Германии, ты думаешь, мало таких ребят, как ты, которые уже ходят на руках?

— Так им и надо! Все немцы — сволочи!

— Они — прекрасные солдаты! — настаивал Лум-Лум.

— Вранье! Отставить! — орал безногий.

— Как так отставить, сукин ты сын?! — внезапно рассердился Лум-Лум. — Ты какое право имеешь так про солдата говорить? Солдаты все из одного мяса понаделаны. Солдат солдату не враг.

— Слышите, слышите, мсье Самовар? — задыхаясь от волнения, говорил слепой. — Слышите?

А Лум-Лум, нетвердой рукой наливая себе в кружку вина, продолжал свое:

— Я все стараюсь понять эту лавочку. Вот тебе оттяпало ноги. Очень хорошо! Немецкий фабрикант получил монету за

пушку, французский — за новые ноги. Теперь играем обратно. Нам с тобой удалось оторвать ноги Фрицу. Очень хорошо. Что же выходит? За пушку получит французский фабрикант, за новые ноги — немецкий. Так мы для них и катаем шары.

Слепец ерошил волосы.

— Мсье Лум-Лум! — закричал он не своим голосом. — Мсье Лум-Лум! Перестаньте!

А Лум-Лум, не обращая внимания, продолжал:

— Наше дело маленькое, гусар! Подставлять морду за одно су в день! Лавочка! Ну, скажи сам, разве не лавочка?

— Вы — изменник отечества! — закричал Жильбер.

Бутылка, пущенная рукой калеки, полетела в окно. Я успел отвести голову слепого в самую последнюю секунду.

Лум-Лум встал и поплелся в кусты.

— Слышь, гусар, — говорил он на ходу. — Я вот все думаю о тебе, о всех нас. Не герой ты, по-моему. Просто так себе, безногая задница! А никакой не герой!

— Молчи, гнусный верблюд! — зарычал Марсель. Он замахнулся на Лум-Лума камнем, но камень выпал из его рук, и гусар повалился наземь лицом в траву.

Безногое туловище лежало, широко раскинув руки и царапая землю, точно хотело ухватить ее, поднять и бросить.

Вскоре, однако, плечи Марселя стали вздрагивать. Калека плакал.

А Лум-Лум, кряхтя в кустах, продолжал.

— Ничего, гусар, — говорил он. — В цирке публика-то смеяться будет. Это да! Что верно, то верно! В публике сидят патриоты. Они таких дураков любят, как ты...

Послышался стук колес. Раскрылись ворота. Мсье Лорано ввел под уздцы Лизетту, запряженную в двуколку. На двуколке восседала мадам Лорано. Она торжественно держала в руках большой, продолговатой формы пакет. Соскочив наземь с пакетом в руках, она подошла к Марселю.

— Лавочка, мама! — сказал безногий, глядя на мать пьяными и безумными глазами. — Одна и та же и в Германии и у нас, во Франции.

Калека плакал.

— Что с тобой? — сказала мадам Лорано. — Боже мой, он болен! Идем, мой мальчик! Я привезла тебе подарок. Марсель получит сегодня ноги. Ходить будет мой мальчик.

Но Марсель рыдал пуще прежнего.

— Это все наделал Лум-Лум, — закричал слепой. — Он изменник, мама! Он говорил ужасные вещи про войну и про Францию.

Тогда мадам Лорано точно впервые заметила Лум-Лума.

— Это опять ты, негодяй? — завизжала она. — Как ты смеешь? Вон отсюда, мерзавец!..

Она стала наступать на Лум-Лума и внезапно заметила меня.

— И ты тоже здесь, русская свинья! Союзник?! Недаром немцы бьют вашего брата! Вон отсюда. Весь сброд Легиона здесь! Как вы смеете служить в армии? Как это позволяют, чтобы изменники и мерзавцы защищали отечество?!

Мадам Лорано пришла в исступление.

Лум-Лум рассмеялся.

— Отечество? Оно у меня чуть пониже спины, отечество! — сказал он. — Чуть-чуть пониже. Пускай фабриканты ног ломают себе морды за отечество.

— Во-он! — уже не своим голосом кричала хозяйка.

Между тем Марселем овладело неистовство отчаяния. Зажмурив глаза, мыча и разрывая обеими руками ворот рубахи, безногий катался по земле, опрокидывая бутылки и кружки и пачкая в красном вине свой голубой доломан.

— Кончилась дружба, Самовар, — сказал Лум-Лум, когда усач, привлеченный криками жены, прибежал во двор, и родители, взяв сына на руки, унесли его в дом. — Не хотят люди, чтобы им глаза открывали! Все любят быть слепыми клоунами. Идем домой!

ПОСЛЕ БИТВЫ

I

В деле под Краонной мы были разбиты и понесли жестокие потери.

В нашей роте на перекличку построилось едва пятьдесят три человека.

— Смотри! —толкнул меня под локоть Лум-Лум. — Твоего земляка тоже нет, этого Петрограда!

— Неужели нет Антошки?

Его не оказалось и среди раненых.

Погиб, бедняга! Мне стало жаль его.

Свое странное прозвание Антон Балонист получил благодаря тому, что в его воинской книжке, во всех пяти графах,

обозначающих имя солдата, его фамилию, имя и фамилию каждого из родителей и место рождения, было пять раз повторено слово «Петроград».

В Иностранном легионе не требуется никаких документов при поступлении. Человек дает о себе сведения, какие сам захочет, и писарь беспрекословно заполняет графы со слов поступающего.

Почему дал Балонист такие странные указания? Когда мы спрашивали его, он пожимал плечами и, улыбаясь, говорил:

— А кто его знает?.. Так-то я Антошка... Балонист Антон Иваныч меня звать...

Антону было лет двадцать семь. Он лишь недавно отбыл воинскую службу где-то в Перми. У себя в деревне он не имел ни кола, ни двора, место пастуха у барина занял другой парень, и Антону, по возвращении из полка, оказалось нечего делать у себя на родине.

— Не заелся я там,—говорил Антон.— Два раза в поле переночевал да и подался в белый свет.

Антон думал, что белый свет так уж велик и добра в нем хватит. Вскоре он убедился, что белый свет — тесная коробка, голодная и сырая, и лежать в ней жестко.

С самой весны работал Антон в Одессе портовым грузчиком. Добра перетащил он на своих молодых плечах видимо-невиди-

мо, а для себя едва хватало на хлеб, а на башмаки так и вовсе нехватало.

Антон слыхал, что якобы за морем иначе люди живут, «другой порядок имеют», и стал с жадной думой смотреть на корабли и волны. Пятнадцатого июля тысяча девятьсот четырнадцатого года, укладывая в трюме итальянского грузового парохода «Чита ди Милано» мешки пшеницы, Антон приготовил себе среди них укромное местечко, где и загородил себя последним принесенным мешком в последнюю минуту, когда сирена гудела отход и грохотали якорные цепи. Три дня жил Антон принесенным хлебом и огурцами, три дня голодал, все ожидая, когда перестанет бить волна и можно будет вырваться на берег, а на седьмой день Антон стоял без шапки и переминался с ноги на ногу перед смуглым матросом, который и сам не на шутку перепугался, неожиданно наткнувшись в трюме на Антошку.

Матрос что-то кричал на своем языке, но недолго, — ему самому было невыгодно привлекать внимание палубы: у него в трюме была спрятана контрабанда. Он впихнул Антошку назад в мешки, загородил его и дважды в день молча приносил ему еду — скользкие макароны. Антошка не знал, что происходило в мире, покуда он торчал в трюмной тесноте. Он не знал, какой был день, когда матрос выбросил

его на берег, и на какой именно берег его выбросили. Его арестовали в порту через полчаса и отвели в полицию. Так как он ничего не понимал и говорил на непонятном языке, то вечером его избили. Его держали неделю, а затем куда-то повели по суматошливым улицам. Солнце палило, мчались автомобили, летели извозчики под полотняными балдахинами и во множестве маршировали солдаты. Антошка не знал, ни в каком городе, ни в каком государстве он находится, он не знал, куда и зачем его ведут.

Но теплые слезы счастья брызнули у него из глаз, когда на доме, к которому его подвели, он увидел вывеску с двуглавым царским орлом. Антон был малограмотен, но по-печатному кое-как разбирал. Он не знал, что значит написанное на вывеске слово «Консульство». Да это и неважно ему было! Важны были стоявшие рядом слова «императорское российское». В них, как и в двуглавом золотом орле, была родина, далекая и любимая, своя, своя, совсем своя, простая и понятная, и к ней сейчас прильнет он в далеком и чужом городе Марселе.

Антошку принял нарядный господин в белом костюме.

— Ты что же, с-сукин сын?! — сказал господин по-русски, и Антошка, обливаясь слезами, упал перед ним на колени.

— М-мерзавец! — еще сказал господин, а затем, больше не обращая внимания на Антошку, который рыдал, ползал на коленях и что-то лепетал, господин стал разговаривать на непонятном языке с людьми, которые привели Антошку, и, наконец, удалился.

Антона отвели назад в каталажку. Он пробовал разговаривать со своей стражей, но его не понимали. Антон раздражался, кричал, пел, свистал, ругался по-матери, молился богу и плакал. По вечерам его избивали. Антон отупел и стал молчать. Так прошло дней десять.

И вот его посадили в поезд.

Его посадили в поезд и привезли в другой город и прямо с вокзала доставили в мощеный двор красивого большого дома.

Из дома вышел осанистый плотный барин с бородкой.

— Ты ж кто, собственно, братец, такой? — спросил барин по-русски. — А? Из каких будешь?

— Саратовской губерни, Балашовского уезда, Великоовражской волости, села Малые Овражки, Балонист Антон Иванов, — вытянувшись в струнку, отрапортовал Антошка и тотчас громко прибавил: — Виноват, ваше высокородие.

— Ну, вот что, брат Антон! — медленно сказал барин. — Ты того... догоняй! Спеши! Уже все отправились... Сегодня

двадцать первое августа,— как раз сегодня начали принимать иностранцев... Догоняй! Тоже поступишь!..

— Поступлю, ваше высокородие?! Возьмут меня? — чуть не рыдая от радости, спрашивал Антон. — Заставьте бога молить, барин. Неужели возьмут?

— Ну, почему ж тебя не взять? Ты здоров?

— Так точно, здоров.

— Ну, в чем же дело? Значит, иди! — обнадеживающе сказал барин.

Хотя Антошка не знал, куда именно надо итти, он все же сорвался с места, но тотчас вернулся назад, вытянулся перед барином по-солдатски и гаркнул:

— Покорнейше благодарим, ваше превосходительство!

— Ну, ступай!— добродушно улыбаясь, сказал барин. — Хвалю.

— Р-р-рад стараться, ваше превосходительство! — гаркнул Антон громче прежнего.

Выдержав небольшую паузу, он позволил себе почтительно задать барину вопрос:

— А куды примут, ваше превосходительство? На какую работу?

Барин сделал длинное лицо.

— На работу? На какую работу? Да ты, дурак, что?.. Белены объелся? Ты откуда свалился? С Марса?

Барин смотрел на Антошку с омерзением. Затем он повернулся и вошел в дом.

Антошка стоял совершенно потерянный, не соображая, что сказал ему барин и почему рассердился.

— Идемте, идемте! В посольстве больше делать нечего,—сказали Антону по-русски двое молодых людей, вышедших из бокового флигеля.

Антошка бросился к ним. Молодые люди спешили, они почти бежали. Побежал и Антошка. Молодые люди не понимали, кретин ли этот парень, или валяет дурака, когда спрашивает, в каком царстве они все трое сейчас находятся, где можно здесь определиться на работу и куда они так спешат. Он надоел им. Когда они очутились на громадной площади, которую доотказа запрудил народ, стоявший в шеренгах очередей, молодые люди пихнули Антона в одну шеренгу, а сами юркнули в другую, подальше. С соседями Антон разговориться не мог, — они не понимали его. Одним ухом ухватил он обрывки русской речи.

— Нет, не Петербург будет нынче, а Петроград, — говорил кто-то.

Антон кинулся к землякам, но они уже исчезли в толпе.

Шеренги подвигались вперед быстро. Люди вскоре вошли за решетку двора,

вскоре они проникли внутрь здания. Антошка делал то же, что и другие: он разделся и дал себя осмотреть и измерить. Его похлопали по плечу и выпихнули под колоннаду. Флегматичный красавец в форме и в усиках, сидевший за канцелярским столом, стал забрасывать его вопросами на непонятном языке. Антон тыкал ему в руки свой засаленный паспортишко, но тот отказывался и все продолжал задавать Антону вопросы. Антон жестикулировал, клялся, хватал себя за грудь, но из всего, что он произносил, писарь понял только слово Петроград и, равнодушно вписав его пять раз в матрикулы Антошки, сунул ему один франк двадцать пять сантимов подъемных денег на выезд в полк, в город Блуа.

Так саратовский крестьянин Антошка, Антон Иванов Балонист поступил добровольцем во французскую армию и был зачислен во 2-й полк Иностранного легиона под именем и фамилией Петроград Петроград. Так проделал он поход.

Так погиб он, выходит, в бою под Краонной?!

— Ну, что ж! — сказал писарь Аннион. — В чем же дело? Значит, убит. Раньше кормил вшей, а теперь червей! Так и запишем. Смешной был тип. И имя смешное... Петроград!..

II

После битвы прошло пять дней.

Санитар Сапиньель пробегал по двору эвакуационного госпиталя в Клерьер, когда где-то, не очень далеко, протрещал ружейный выстрел. Пуля шлепнулась в ворота госпиталя.

— Это же что такое? — изумился Сапиньель.

Раздался еще один выстрел, и он почувствовал боль в руке. В первую минуту он подумал, что его ударили, и даже выругался, но поблизости не было никого, к тому же на рукаве халата появилась кровь. Сапиньель понял, что получил пулевую рану. Это было чересчур...

В тыловых учреждениях — в госпиталях, лазаретах, штабах, канцеляриях, обозах и интендантствах люди иногда относятся сочувственно к чужой крови, но от вида своей собственной они совершенно безумеют. Рана Сапиньеля оказалась пустой царапиной — пуля едва задела героя. Однако не только сам Сапиньель поднял необычайный вопль, но во всем лазарете, в штабе коменданта гарнизона и в канцелярии обоза эта загадочная стрельба и ранение санитара вызвали переполох. Все забыли даже о многочисленных тяжело раненых, которые после сражения валялись в Клерьер без помощи шестой день.

Тыловики не любят осложнений. Тотчас все было поставлено на ноги.

Кто смеет стрелять в десяти километрах от фронта, к тому же во двор госпиталя?

Во все стороны полетели гонцы, заработали полевые телефоны. Штабные стали говорить, что нужно сжечь до тла такую тыловую деревню, где нет безопасности.

В самой деревне расследование не дало ничего. Деревню переворошили, как скирду соломы — виновных не нашлось.

Начальник гарнизона майор Росс не унимался.

— Найти этого мерзавца во что бы то ни стало! — кричал он.

Кто-то из обозных обратил внимание на то, с чего следовало начать, а именно, что пули прилетели не из дервни, а со стороны леса, по ту сторону которого лежал фронт.

Тогда майор приказал снарядить сборные патрули в лес. Я попал в патруль. У опушки сержант разбил нас на группы. В каждую группу входили один белый и один или два негра или араба.

Со мной был пожилой туарег Мессауд из алжирских стрелков. Углубившись в лес метров на сто, мы обнаружили небольшую полянку. У горелого пня валялись стреляные гильзы. Мы сразу напали на след стрелка!

Гильзы были, однако, не нашего образ-

ца. Мессауд быстро подобрал их и положил в карман. Одну он показал мне. Так и есть! Клеймо германское!..

«Вот это здорово, так здорово! — подумал я. — В нашем тылу погуливает немец и развлекается стрельбой по нашему госпиталю».

Я не обратил внимания на то, что с данного места ни госпиталь, ни деревня не видны: Клерьер лежала в лощине, по ту сторону дороги, а дорога была скрыта невысоким, но густым кустарником.

На земле, по-весеннему рыхлой, были видны свежие следы ног.

— Одна след наша! — сказал Мессауд, тыча пальцем в отпечаток французского армейского башмака, подбитого характерными крупными гвоздями.

— Наша саиб ходи, франк.

Загадка запутывалась. Я быстро пошел по следам. Они вели в чащу. Едва прошли мы шагов триста, как Мессауд насторожился. Вытянув руку и делая мне знак молчания, он бросился наземь и приложил ухо к земле.

— Близко! — шепнул он мне, вставая. — Два люди!

Мессауд, держа винтовку наперевес, стал неслышно продвигаться вперед. Я шел за ним.

Вскоре мы сквозь кусты увидели немецкого солдата в бескозырке, с красным кре-

стом на рукаве и двумя винтовками через плечо. Он сидел на поваленном дереве к нам спиной.

Мессауд тотчас молча вскинул винтовку. Мне пришлось пригрозить ему штыком, чтобы заставить отказаться от выстрела. Мы стали прокрадываться дальше. Шумел ветер, и немец не слышал наших шагов. Я решил воспользоваться этим и взять его живым. Подойдя к нему шагов на пять, я крикнул по-немецки: «Стой! Руки вверх!»

Немец вскочил. Он обернулся и, увидев меня и араба с винтовками у плеча, застыл мертвый и немой от испуга. В ту же секунду рядом с ним вскочила с земли другая фигура. Но на сей раз окаменеть пришлось мне: рядом с немцем стоял Петроград. Он стоял, выдвинув вперед голову и приседая на растопыренных коленях. Глаза его были мутны. Даже испуг не просветлил их.

— Петроград! — воскликнул я обрадованно. — Тебя как сюда занесло? Мы ж по тебе свечку ставили.

У немца испуг прошел раньше, чем у Антошки. Видя, что я отвел ружье и не только не собираюсь стрелять, но даже обрадованно хлопаю Антошку по плечу, немец быстро успокоился. А Петроград долго еще ворочал глазами, покуда, наконец, спросил сбившимся голосом:

— Игде мы, слышь? Куды впопали?

У Петрограда и его странного спутника лица были серо-бледные, носы и губы синие. Оба изнемогали. Оба имели вид людей, опустошенных усталостью, голодом и страхом.

— Игде мы, слышь? — повторил Антошка. — Куды впопали? Которое тут войско стоит — свое? Али плен?..

Немец давно скинул ружья с плеча. Он прислонил их к дереву, а сам старался стоять в позиции «смирно», хотя и у него подкашивались ноги, как у Антона.

— Садись, Петроград! — предложил я. — Отдохни! Не плен здесь, а свои. В свой полк попадешь.

— В свой, говоришь, полк? — переспросил Антон безразличным голосом. — Лежион? А?

— Да, в Легион! Сядь! На, пей!

Я усадил Антона и дал ему пить. Антон пил жадно, у него засветились глаза от вина.

А Мессауд стоял растерянный; он не понимал, почему французский солдат, обнаруживший немца раньше нас, до сих пор не убил его, почему немца не убиваю я и почему вообще не видно никаких к тому приготовлений.

— Моя буду бош голова резать, — предложил он мне, степенно оглаживая свою длинную бороду.

— Подожди, Мессауд! — сказал я. — Пока не надо.

Мессауд не соглашался.

— Как не надо? — говорил он, понизив голос. — Зачем не надо? Война! Надо немцу купэ кабэш делать!..

— После, после, Мессауд! — сказал я, чтобы отделаться. — После!..

Мессауд, ворча, отошел в сторону.

Петроград сделал из баклаги несколько глотков, оторвал ее от пересохших губ и протянул немцу.

— На, Фрицка! Пей! — сказал он, проглатывая свой последний глоток и глубоко вздыхая.

Немец жадно прильнул к горлышку.

— Кто он? — спросил я.

— А кто его знает? Так приблудный. Шесть ден по лесу вместех блукаем, ходу ищем. Тоже и он свою часть потерял, видать...

Больше Петроград объяснить не мог ничего — сил не было.

Я обратился к немцу.

От него я узнал, что во время сражения он, по должности санитара, бегал по плато и подбирал раненых, которых переносил на перевязочный пункт. В лесу он был оглушен снарядом и упал. Он не знает, сколько времени пролежал. Было темно, когда он очнулся. Сражение кончилось. Кругом было тихо. Он хотел добраться до

своих, но не знал направления. Пошел наугад и скоро услышал голоса. Но это были французы. Тогда он пустился обратно, но заблудился в лесу. Усталый, он упал и заснул. Проснувшись утром, он увидел на траве, почти рядом с собой, французского солдата, который навел на него ружье.

— Это был вот он,— сказал немец, показывая на Петрограда.— Возле меня тоже оказалось ружье на земле. Немецкое. Так мы и лежали с французом друг против друга со взведенными курками. Потом я сказал ему, что нас здесь только двое и мы не должны друг друга убивать, и бросил ружье наземь. Тогда он тоже бросил ружье наземь. Потом мы сели рядом и закурили. Он имел свой табак, а я свой. Я разговариваю с ним, а он не понимает. Я говорю — не надо убивать друг друга. Лучше,— говорю,— пойдем вместе. Отведем один другого в плен. Ты меня или я тебя. Куда попадем. А он ничего не понимает по-немецки. А я по-французски не понимаю.

Внезапно немец разозлился.

— Где ж мне по-французски уметь? Я не обер-лейтенант какой-нибудь. Я огородник! Из Саксонии! Огородник! Вы понимаете? Из Саксонии!

У немца глаза налились злобой, сжались кулаки, он стал бешено кричать на меня. Но кричал он только одно:

— Из Саксонии! Из Саксонии! Из Саксонии!..

Это было то страшное исступление чувств, хорошо знакомое каждому окопному жителю, когда разум больше не помогает человеку.

Измученный голодом, вшами и грязью, оглушенный усталостью, пьяный от пальбы, стоит человек в тяжелом самозабвении. Его сотрясает последняя смертная злоба. Он протестует против страшной жизни, в которую брошен. Он протестует, жалуется и грозит. Но разум не работает, в разуме заедает что-то, разум дает осечку за осечкой и с уст срывается какая-то чепуха, совсем не то, что надо было бы сказать.

— Из Саксонии! Из Саксонии! — то повышая голос до рычания, то понижая его до хрипа, повторял немец, грозя мне кулаком.

— А теперь можно? — тихо спросил Мессауд. Он счел момент подходящим, чтобы, наконец, выполнить то, что считал своей основной задачей на войне. — Теперь можно ему купэ кабэш делать? — спросил он, многозначительно обводя правой рукой вокруг шеи.

Мне удалось опять остановить его усердие. К великому изумлению Мессауда я не только не убил немца, но даже положил ему руку на плечо.

— Садитесь! — сказал я немцу. — Саксония хорошая страна. Успокойтесь!..

Я дал ему табаку. Он успокоился сразу — так же внезапно и тяжело, как вспылил. Он не заметил, как я забрал оба ружья. Мы сидели все на пнях и курили. Блаженное состояние стало охватывать обоих бедняг.

— Он смешной, этот парень, — сказал немец, показывая на Антошку. — Представьте себе, он все время тыкал себя в грудь и повторял: «я рюсс, рюсс». Что это значит? Я раньше подумал, что это он выдает себя за русского. Но ведь мы на французском фронте? Не правда ли? Кроме того, я видел русских солдат на картинке, — у них не такая форма. Я говорю ему: «врешь, ты — францозэ». А он все свое: «рюсс, рюсс». Чудак какой!..

Немец уже добродушно улыбался и похлопывал Антошку Петрограда по плечу.

— И чего он там говорит? — спросил Петроград.

— Да вот, — пояснил я, — не понимал он, говорит, что ты — русский.

— Так и не смекнул, значит, голова еловая?! — пожимая плечами, сказал Петроград. — Ишь ты, серость! А я ему говорю, мол, «гляди, Фриц, я не франсэ. Па франсе муа, компренэ? Муа рюсс». А он, сукин сын, только глазами хлопает. А он кто — немец? А? То-то! Я-то, не-

бось, догадался. А ведь, поди, спрашивал его все время: «Ты, говорю, кто будешь? Туа, говорю, бош?» Не понял. «Туа, говорю, герман»? Опять ни в рот ногой. Сказано, серость.

Антошка рассмеялся.

— А и я-то его не сразу ведь признал. Думал, тоже француз какой. Кто их разберет? Полков немало в атаку выходило, и форма-то ведь у всех разная. А только он по-нашему, по-французскому, не понимает. Гляжу, у него и прием другой. Не так он винтовку берет, как мы. Да и винтовка у него другая. Ну, подумал, может, союзник какой, англиец или так само обратно итальян? Кто их разберет? «Ты,—говорю,—какой веры?» Не понимает! «Крещеный?»—говорю. А сам крещуся. Гляди, и он крестится. Да только не по-нашему. Ну, думаю, пущай не по-нашему, а все своя душа, крещеная.

Антошка замолк. Он устал. На мои расспросы он отвечал нехотя.

Не зная, в какую сторону итти, они решили выждать до вечера. Оба были голодны. Дождавшись темноты, они вернулись на поле. Оно было завалено трупами. В сумках убитых удалось найти съестное. Нашлось и вино. Навалились они крепко, отяжелели и заснули.

Когда они проснулись, было уже светло. Они оказались вынуждены остаться среди

покойников опять до вечера: ходить по полю немыслимо, — оно открыто для обстрела.

Антошку интересовало узнать, кто его спутник.

— Ты кто ж будешь? — спросил Антошка.

Спутник по-русски не понимал.

— Ты кто? Кайзер Вильгельм, что ли, вражий дух?

Услышав это имя, немец как будто обрадовался: между ним и французом стали намечаться проблески понимания.

— Я! Я! — воскликнул он.

Антошка догадался, что имеет дело с неприятелем.

— Какую же мне с ним, думаю, руку держать? Убить его, что ли, что он на нашу Расею напал? Или не убивать? Два дня с той думкой ходил! Уж ему самому сказал: «молись, Фрицка, богу, потому живой ты от меня уйти не могишь»!

Однажды Антошка даже снял уже винтовку с плеча, чтобы застрелить немца. Но им овладело странное сомнение.

— Сумно мне стало, — сказал он. — Игде я, думаю. За что солдата убиваю? Почему не на своей земле погибаю? Почему не свою шинелку таскаю? За кого голову складаю свою?

Антошка минуту помолчал.

— Слыхал ты про Малые Овражки? —

спросил он меня.—Саратовской губернии, Балашовского уезда, Великооовражской волости? Не слыхал? Родом я оттуда! Вспомнил я Малые Овражки да и заплакал, понимаешь. Очень уж в грудях защемило.

Когда немец увидел, что его спутник плачет, он бросился к нему с расспросами.

— Вас? Вас? — все приставал он к Антошке. Но Антошка понял немца по-своему.

— Эх, Фриц, браток! — сказал он. — Кайзер ты Вильгельм, голая душа! И вас и нас одним горем кормили, одной бедой поили.

Антошка чувствовал все ясней, что убивать немецкого солдата не хочет. Он даже сказал ему это и сам от этого заволновался.

— Вроде, как пасха у меня в грудях стала. Увидел я, что не должон я Фрица этого убить.

Оба они брели, имея в виду сдать один другого в плен, когда добредут до какого-нибудь расположения.

— Куда придем, там будем! — сказал немцу Антошка. — До ваших дойдем, ты меня сдашь. До наших — я тебя сдам. А то хорошо бы обоим в плен податься, чтобы, значит, совсем на замирение итти и всю эту шарманку, войну эту самую, в нужник свалить.

На этом месте своего рассказа Антон осекся, как-то неопределенно развел руками и, явно чего-то не досказав, стал описывать свои дальнейшие приключения. Блуждания его с немцем продолжались еще около четырех суток. Отойдя от линии фронта, бедняги потеряли всякую ориентацию. Дважды случилось с ними, что, проходив по лесу целый день, они возвращались к тому же месту, с которого вышли. Они слыхали орудийную пальбу, время от времени треск ружей и клокотанье пулеметов, но война была подземная, армии сидели в глубоких окопах, пещерах, сапах, а на земле не видно было никого и ничего, и люди не знали, кто и где стреляет и куда им итти. Однажды ночью они вышли из лесу. Безмолвие лежало перед ними. Они пересекли заброшенные поля; деревню, разрушенную до тла и покинутую жителями; виноградники, заросшие бурьяном. Они вышли на зеленый луг, пересеченный в разных направлениях мощеными дорогами. Они пошли по этим дорогам, но дороги оказались улицами города, который был снесен артиллерией. Руины были вывезены, площадки, освобожденные от построек, поросли травой, и лишь никому более не нужные мощеные улицы попрежнему скрещивались, сталкивались, переплетались и снова разбегались в разные стороны. Бро-

дяги прослонялись по этим улицам, но улицы не вели никуда.

Неясная громада чернела вдали.

Ограда монастыря? Заводской двор? Помещичий замок?

Бродяги устремились туда. Громада оказалась лесом. Лес поглотил их.

Это был все тот же клерьерский массив.

Начинался шестой день блужданий.

Он начинался в голоде и изнурении, как пять предыдущих.

Отчаяние овладевало путниками. Отчаяние овладевало Петроградом.

III

Антон сидел на пне и курил. Он затягивался жадно, пыхтел, чмокал, у него при этом западали щеки.

— Ну, а кто ж стрелял, Петроград? — спросил я среди общего молчания.

— Кто стрелял?

— Да.

— Кому ж стрелять? Я и стрелял.

Антошка сказал это угрюмым, сдавленным голосом и опустил голову.

— Ври больше! — возразил я. — Гильзы-то мы подобрали немецкие.

— Ну, и что? Я стрелял, говорю! — настаивал Антошка.

— А в кого?
— В кого?
— Да! В кого ты стрелял?
Антошка глубоко вздохнул.
— В дружка своего стрелял! В Фрицку! В кого ж стрелять?
— А за что?
Антошка долго не отвечал мне. Внезапно он схватил меня за полу шинели и стал трясти.
— За что страдаем, скажи? А? За что муку принимаем? А? Говори, слышь!..
Я сидел несколько выше Антона. Он вцепился мне в ноги и едва не опрокинул меня. Я оттолкнул его прикладом.
— Ты мне, Антошка, зубы не заговаривай, сволочь, — сказал я. — Ты говори, кто стрелял. А если ты в немца бил, говори за что. То братались, в грудях тебя щемило, а то стрелять!..
Антошка сполз со своего пня и резко повернулся ко мне. Он оказался передо мной на коленях. Кепи слетело у него с головы, волосы растрепались. Антон смотрел на меня страшными глазами.
— За что? За что? За что? — исступленно повторял он. — За что есть я раненый солдат на чужой земле? И кто передо мною виноватый, говори! Кто неприятель мой, говори, браток! Открой глаза мои!
Странно! Антошка никогда не произво-

дил впечатления солдата, который задумывается над причиной вещей. Когда по дороге в полк он узнал от русских, что находится во Франции, где кругом живут одни французы — наши союзники, и что все мы пойдем на войну, Антон принял свою судьбу безропотно. Вместе со всеми он сидел в окопах. Он даже был ранен шрапнелью. Он был хороший солдат, весельчак и балагур и часто зубоскалил по поводу того, что за столько времени на войне ни разу не видел неприятеля и не знает, кто, собственно, его враг.

И вот Антошка в невиданном смятении, в состоянии, на которое я не считал его и способным, валяется на земле и требует, чтобы я вдруг объяснил ему, кто перед ним виноват.

— Вставай, Антон! — сказал я. — Будет тебе дурака валять.

Антон умолк и как-то внезапно, сразу обмяк. Точно надувная игрушка, из которой выпустили воздух, он обратился в тряпку. Почему все-таки стрелял он в немца и как это случилось, что он его не убил и что немец не только не убил его в отместку, но даже не расстался с ним,— Антон так и не досказал, а я больше не расспрашивал; я видел, что сейчас всякие расспросы бесполезны.

— Вставай, что ж, пойдем! — сказал я.

Мессауд и немец тоже встали. Они не

понимали, о чем мы говорили с Антоном. Они даже не догадывались, на каком языке мы разговаривали. Но по волнению Антона оба поняли, что разговор был важный и, не спрашивая ни о чем, последовали за нами в глубоком молчании.

Я пытался узнать у немца, кто стрелял, — я хотел проверить слова Антона. Немец подтвердил, что стрелял Антошка.

— Француз, — сказал он, — со вчерашнего дня ходил мрачней обыкновенного. Он все бормотал что-то про себя. Мы три дня не ели. Я собирал коренья. Я огородник, но понимаю в лесных кореньях тоже. Я ел и давал ему. Сегодня утром он был как безумный. Я собирал коренья, вдруг он стал стрелять. Я удивляюсь, как он в меня не попал, — я находился в ста шагах. Я подбежал к нему, когда он перестал стрелять, и с трудом вырвал у него винтовку из рук. Он, оказывается, стрелял из моей. Он был как безумный. Я дал ему пить из дождевой лужи, и он понемногу стал успокаиваться.

Мы вышли на дорогу. Уже виднелась деревня. Я обдумывал, как бы поосторожней представить всю эту историю начальству. Я составил план: легионер Петроград, контуженный в бою, заблудился и скитался в лесу. Недалеко от деревни Клерьер он увидел немца и стрелял в него. Немец сдался. Это был перебежчик.

Петроград конвоировал его в наше расположение, когда я встретил его в лесу.

Эта версия могла бы спасти обоих.

Да! Но ружейные гильзы! Они-то были немецкие! Гильзы поворачивали все дело в совершенно другую сторону: по гильзам выходило, что немец подкрался к нашему госпиталю и среди бела дня стрелял в него. К тому же немец носил красный крест, то есть не имел права пользоваться боевым оружием.

— Ну, что ж! — подумал я. — Винтовку можно выдать за трофей Петрограда: он подобрал ее в лесу и взял себе. Но гильзы, гильзы! Гильзы были у Мессауда, и отдать их араб ни за что не соглашался! Гильзы были его трофей. Он не хотел, чтобы я присвоил себе честь раскрытия следов загадочного стрелка.

— Нет! Мессауд гильзы не отдаст никому! Только саибу капитану!..

Придумывать новый план было поздно: нас заметили из комендатуры, и несколько человек солдат и писарей шли нам навстречу.

Немца я сдал, а Петрограда мне разрешили увести в роту. Я забежал в околоток, к зауряд-врачу студенту Левинсону, моему приятелю, наскоро рассказал ему всю историю и просил, если можно, эвакуировать Антошку или признать его больным, вообще сделать так, чтобы на-

чальство не очень к нему придиралось.

Коменданта в канцелярии не оказалось, когда привели немца. Пришлось подождать. Я застал Фрица на завалинке, окруженного народом. Он сидел испуганный и молчаливый. Мессауд караулил его, храня напряженное и торжественное выражение.

— Кто ты такой? — все спрашивал он пленника. — Моя тебе говори французски, твоя понимай нет. Моя тебе говори арабски, твоя понимай нет. Твоя, значит, ничего не понимай! Твоя — дикарь!..

Кругом гремели шутки и смех, но Фриц не понимал их и молчал.

Как только явился комендант, дело пошло необычайно быстро. Мессауд отдал ружье Фрица, положил на стол гильзы и, сняв с руки пленного знаки Красного креста, отошел на два шага и стал в позицию «смирно».

— Обыскать! — негромко приказал комендант.

При немце не нашли ничего, кроме письма к жене, Марте Дуезифкен. Это было письмо крестьянина. Оно содержало распоряжения насчет коровы, сливового дерева и поросенка, а главным образом насчет огородных семян, и заканчивалось сообщением об ожидающейся атаке со стороны французов, которой автор письма, однако, не боится, потому что верит

в бога и его милосердие. Письмо подписал Иоганн Дуезифкен.

Комендант слушал чтение рассеянно. Он был чем-то озабочен. Прошло минуты две, раньше чем он заметил, что чтение окончено и что немец, Мессауд, переводчик и писаря стоят в молчании.

— Ну, в чем дело? Чего вы ждете? — негромко сказал комендант. — Ну, расстреляйте его!..

Этого можно было ожидать. Все же мы как будто не сразу поняли слова коменданта.

— Господин майор! — сказал я. — Разрешите доложить! Я знаю историю этого чудака!..

Майор медленно поднял голову и посмотрел на меня рассеянным, невидящим взглядом.

— Что вам надо? Кто вы?

Лишь на-днях я помог майору разобраться в документах, найденных при убитом русском. Узнав, что перед войной я готовился к защите докторской диссертации по юридическому факультету, майор предлагал мне даже занять должность писаря при военном суде. Он был удивлен, когда я отказался.

— Ах, эти русские идеалисты, эти славянские души! — сказал он, улыбаясь. — Человеку предлагают спокойное место в тылу, а он отказывается!..

Впрочем, он пожал мне руку и с некоторой торжественностью в голосе негромко добавил:

— С такими союзниками мы можем быть спокойны!..

Сейчас майор смотрел на меня пустыми глазами:

— Вы поймали шпиона, — это все, что от вас требовалось. А что касается адвокатов, которые приходят свежие, как розы, и глупые, как гуси, то я их не люблю. Можете итти...

Присутствующие почтительно улыбнулись остроте майора. Один из писарей оттолкнул меня от стола — не очень грубо, но пренебрежительно энергично. Майор нашаривал на столе перочинный нож. Найдя его, он стал чинить синий карандаш.

— Вы еще здесь? — нетерпеливо сказал он, обращаясь к конвоирам немца.

Те торопливо загрохотали башмаками и прикладами и вышли. Писарь вытолкнул меня. Все сделалось в одну минуту.

Весть о том, что сейчас будут казнить шпиона, который утром стрелял в госпиталь, разнеслась по деревне в один миг. Арабы, легионеры, стрелки наперебой вызывались участвовать в казни. Немец понял, куда его ведут.

— Franzosen, gute Kameraden! — кричал он не своим голосом.

У него пот градом катился со лба, он задыхался и не мог передвигать ногами. Он упал. Тогда два стрелка подхватили его подмышки и поволокли по земле.

— Идем на огород, картошку копать!— кричал один из них, смеясь, и это замечание вызвало всеобщий смех.

Хохот еще больше испугал немца. Он потерял человеческий облик.

— Не хочу-у-у! — бессмысленно кричал он и бил ногами.

Мессауд чувствовал себя главным героем торжества: это он первый нашел в лесу гильзы, он первый открыл следы неприятеля, он первый увидел его. Солдат франк, который был с неприятелем, не догадался убить его. Второй солдат франк, тот, который пришел с ним, с Мессаудом, не хотел убить его. А Мессауд говорил, что надо его убить, и вот теперь выяснилось, кто был прав: сам саиб капитан приказал стрелять немца! Мессауд был доволен. Он сиял.

Шествие все больше и больше обрастало публикой. За солдатами спешили женщины. Они ради случая побросали хозяйство и на ходу вытирали о передники руки, испачканные на кухонных работах. Стая мальчуганов шлепала впереди. Ребята каждый раз оборачивались, чтобы лучше рассмотреть лицо человека, которого ведут за околицу убивать.

Мессауд чувствовал себя как бы хозяином большого угощения, которое он давал деревне. Конечно, было бы приятней самому лично отрезать немцу голову, то есть сделать ему купэ кабэш. Но франки почему-то не любят этого.

Что ж, чего нельзя, того нельзя! Но что можно, то можно!

— Кэлб бени кэлб! — громовым голосом орал Мессауд, пихая немца ногой. Немец падал. Мессауд заходил сзади и, хохоча, покалывал его штыком пониже спины. Немец вздрагивал и вырывался, но стрелки держали его крепко.

Немца застрелили на пустыре, на покинутом огороде. От огорода осталось только пугало. Оно стояло, нелепо растопырив дощатые руки. На нем болтались лохмотья и висела широкая соломенная шляпа. Немец упал у самого пугала.

IV

Левинсон не мог как следует заняться Антошкой: время было горячее. Тяжело раненые все прибывали и прибывали. Негры из Судана и Сенегала, арабы, легионеры, морская пехота, зуавы валялись в сараях, амбарах, конюшнях, хлевах, во дворах и на проезжих дорогах и уже воняли смертью.

Штаб, разработавший план и расписание сражения с точностью расписания поездов, рассчитывал на победу и продвижение вперед и ничего не приготовил в тылу. Между тем сражение было проиграно, свыше тридцати тысяч человек полегло в двадцать минут. Заканчивать дело, начатое стратегами, пришлось хирургам и санитарам, но их было мало, они не справлялись, и люди погибали на их глазах от ран, истощения и голода.

— Отстаньте вы от меня с вашим Петроградом! — сердился Левинсон. — У меня смотрите, что делается!.. Тысячи умирающих и два термометра на весь госпиталь! Мы делаем по сто операций в день! Мы даем раненым пить в ведрах из-под угля! Мы оперируем ночью при свете карманных фонариков! Я сойду с ума!..

Врачи заняться Антошкой не могли. Да, в сущности, он в этом не очень и нуждался. В роте его приняли хорошо, угощали, поили. Лум-Лум, который был с ним очень дружен, обрадовался больше других. Уже через полчаса после возвращения Антошки, оба приятеля сидели в тени и пили. Когда Лум-Лум запел по-арабски, повеселел и Антошка.

— Эй, народ православный! — кричал он. — Эй, старые бородачи, старики-пузырники! Эй, бочкари-гвоздари, скорые послы-подносчики, давайте вина!..

Приятели не понимали друг друга, но это и не нужно было: обоим было хорошо и так.

Напившись, Антошка завалился спать и вскоре храпел, как мотор. Он проспал весь день и ночь, а утром, после кофе, смотался в третью роту, где у одного из русских имелась гармошка, принес ее и вскоре сидел на солнце и нажаривал свои любимые солдатские частушки с припевом собственного сочинения.

Мать Расея, мать Расея,
Мать расейская земля,
Ты вспоила, ты вскормила,
Ты в приемку повела.
Тирли-да-тирли, солдатирли,
Али брави компаньон.

Антон забрался в дальний угол двора, куда не заглядывают начальники. Он сидел на завалинке босой, в одной рубахе и штанах. Солнце грело ему лицо, грудь и ноги. Солнце грело так же, как, быть может, в Малых Овражках, и ветер играл Антошкиными белокурыми волосами.

— Слышь, а куда Фрицку девали? — спросил он меня.

— В плен подали его, в тыл, — сказал я.

Антошка спал, когда расстреливали его дружка. Я не хотел сказать ему правду.

— В плен? Это ладно! — сказал Петроград. — Не попрощался, сволочь! Ну, да ладно!..

Он сплюнул окурок, висевший у него на губе, и продолжал играть и петь про мать-Расею.

Во станок поставила,
Кудри бреть заставила.
Кудри бреют — не жалеют
И стригут — не берегут.
Тирли-да-тирли, солдатирли,
Али брави компаньон.

Антон грелся, пел и был очень доволен, что лесное приключение, наконец, закончилось. Он сразу, легко и быстро вошел в колею ротной обыденщины.

Но были в роте и люди, которых не устраивало внезапное возвращение легионера второго класса Петрограда. Старший писарь Аннион давно вычеркнул легионера Петрограда из списков на довольствие, зачислив его в убитые или пропавшие без вести. Теперь легионер Петроград является. На зачисление в списки нужен наряд. По чьему наряду явился Петроград.

— Да! По чьему наряду? Позовите-ка его сюда.

Антон быстро оделся и стоял перед Аннионом, вытянувшись и выпятив грудь, как его учили еще в русской казарме.

— Ну! По чьему наряду?

Антон не отвечал: он не понимал вопроса.

— По чьему наряду? Объясните ему, пожалуйста, этому кретину, вашему земляку, что в армии ждут человека три дня. Кто приходит после этого срока, не должен разыгрывать из себя привидение с гармошкой. Он — дезертир. Точка, это все.

Это было то, чего я пуще всего опасался. Время было скверное. Командование было раздражено проигрышем сражения. Еще несколько дней тому назад нам вдалбливали в головы, что это сражение положит конец войне. «Мир лежит по ту сторону плато», — говорили нам.

А на деле вышло, что каждый оставил на поле, в грязи, большинство товарищей, что вернулась кучка, что те, кто не умер в поле, умирали без помощи в госпиталях, а немецкая линия осталась нетронутой, и конца войны попрежнему не было видно.

Чтобы не дать нам опомниться, нас изнуряли ночными переходами, нас гоняли по горам и болотам, нас заставляли упражняться в маршировке, стрельбе, наколке чучела, словесности и отдаче чести.

Полевые суды заседали беспрерывно. Они были завалены делами, которые создавались для устрашения и поддержания престижа. Расстреляли зуава, который отказался надеть штаны, снятые с умершего,

Расстреляли стрелка, который отказался от еды, потому что она была плоха. Расстреляли артиллериста, который сказал, что ему надоело.

В ротах, в кабаках, на дорогах только и искали, кого бы поставить на суд, и все были хороши, всех хватали.

— Пускай решит капитан Персье! — сказал Аннион. — Пойду, скажу ему, что легионер Петроград вернулся. Не знаю... Все-таки шестой день, знаете... Это дезертирство...

Он вышел улыбаясь.

Аннион пробыл у капитана недолго. Я слышал обрывки телефонного разговора со штабом полка.

— Да, Петроград! Ну да, повторяю, Петроград! Нет, не столица России, а фамилия легионера второго класса. Чорт его знает!.. Был списан в убитые. Его видели на плато. Он упал... Вернулся вчера вместе с немецким шпионом, который стрелял в лазарет. Их задержали в лесу обоих одновременно... Слушаю, полковник...

Трубка была повешена.

— Отправьте его! — проскрипел капитан Персье.

— Одевайтесь! — коротко перебросил Аннион Петрограду. — Пояс! Без штыка!

— Аннион! — сказал я писарю, когда Антошка побежал одеваться. — Что вы наделали?! Ведь теперь его расстреляют!

Аннион был занят. Ему было не до меня. Разговаривать со мною долго он не мог.

— Ну, и что? — коротко бросил он мне в ответ. — Все равно он списан в убитые.

Но судьба Антона взволновала многих в роте.

— Идем живо к лейтенанту Рейналю! — предложил Лум-Лум. — Рейналь заступится. Он хороший тип.

Лейтенант Рейналь, наш полуротный командир, был мобилизованный школьный учитель. Он вместе с нами переносил все тягости окопной жизни и сделался нашим товарищем.

Лейтенант Рейналь расстроился, узнав, что капитан Персье угоняет Антона в штаб.

— Это паршиво! — сказал он. — Не может быть паршивей!.. Они теперь только и делают, что ищут, кого бы расстрелять. Это очень паршиво!..

— Если бы вы поговорили с капитаном! — сказал я. — Может быть, он отменил бы...

Но лейтенант Рейналь, честный человек, хороший товарищ и храбрец в бою, боялся ротного командира, капитана Персье.

— Это не тот тип, с которым можно разговаривать, — смущенно сказал лейтенант. — Он слишком доволен, что нашел еще одного парня, который может постоять две минуты у столба.

Все же он согласился пойти к капитану.

— А вы, — сказал он мне, — вы отправляйтесь на всякий случай в штаб. Быть может, вам удастся поговорить с кем-нибудь из офицеров.

Это последнее было, конечно, совершенно безнадежно, но я все же отправился.

Я условился с Рейналем, что буду ждать полчаса на дороге. Если в течение этого времени Антона не поведут, значит, все уладилось, и я возвращаюсь. Если поведут — я бегу в штаб.

Антошка растерялся, увидев себя между двух вооруженных конвоиров.

— Куды, слышь, гонют? А? — спросил он меня. Впрочем, он тотчас сам и ответил на свой вопрос: — Должно, в штаб, про Фрицку допрашивать будут, — сказал он. — А что я про него знаю? Голая душа, и все тут. Сказано, солдат.

Все же какая-то тревога забралась в него. Он все поправлял кушак, пуговицы, фуражку, точно стараясь предстать в самом аккуратном виде перед начальниками, к которым его ведут.

— Подождите, ребята, — сказал Рейналь конвоирам и зашел к капитану.

Ждать мне не пришлось и пяти минут.

Конвоиры прошли с Антошкой стрелковым шагом мимо маленькой таверны на шоссе, где мы с Лум-Лумом ожидали их, сидя у окна. Они удалялись быстро.

Мы их догнали за околицей, на пустырях, у огородного чучела. На своем месте еще лежал расстрелянный немец. Антошка сразу ссутулился и завыл.

— А-а-а-а! — бессмысленно тянул он.— А-а-а-а!..

Лицо у немца было спокойное, как у спящего. Руки, которыми он вчера закрыл глаза, чтобы не видеть наведенных на него ружей, теперь как бы защищали его от солнца. Оно било ему прямо в лицо. Что-то было чистое и спокойное в этом немце.

А Петроград уже догадался о том, о чем догадывались люди в роте и что уже хорошо знали капитан Персье и Аннион, а именно: что и он скоро будет расстрелян.

Он стоял, склонившись над убитым, и орал, не обращая внимания ни на конвоиров, которые подталкивали его прикладами, ни на нас с Лум-Лумом. Он орал, ничего не видя и не слыша.

АТАКА

Артиллерийскую подготовку начали ровно в шесть вечера. Мы сидели под откосом шоссе и ждали сигнала к выступлению. Лесное эхо сердито повторяло гул пальбы. Снаряды шли беспрерывным потоком. Они вздымали в воздух людей, землю, песок и обломки подземных укреплений. Люди извивались в воздухе, как рыбы, выброшенные на песок.

Неприятель не отвечал.

Никто не знал, когда будет подан сигнал к выступлению. Командир роты, капитан Персье, сидел на пне ровный и плоский, заложив руки в карманы и подняв плечи. Он не разговаривал ни с кем, не смотрел ни на кого. Он поджал губы и сидел молча и неподвижно.

Ночью небо стало багровым. В деревне, позади позиций противника, начались пожары. Они продолжались всю ночь.

Взошло утро. Люди стояли бледные и мрачные, у них сузились глаза. Бомбардировка продолжалась.

Сенегальским стрелкам было холодно. Они кутали носы в шарфы, дули на кончики пальцев и переминались с ноги на ногу, как московские извозчики у костров.

Буря бушевала. Звуки выстрелов и разрывов смешались. Все смешалось. Люди сидели на ранцах, на камнях и на земле, сжав головы руками.

Неприятель не отвечал. Он притаился. От этого было еще более тяжело.

Шутки давно прекратились. Мутные глаза смотрели бессмысленно. Земля, балки, люди, пулеметы и пушки продолжали взлетать на воздух. Все взлетало и падало вниз. Потом, перекрытое слоем земли, выхваченной еще глубже, все взлетало снова и снова падало вниз. Артиллерия месила землю, как тесто. Ожидание мучило нас.

— Танцы начнутся ровно в семь, — сказал Лум-Лум.

В третьем взводе Эль-Малек, Верзила Эль-Малек, как его звали, араб из племени кулугли, вдруг стал громко кричать. Он выкрикивал русские ругательства, которым его научили наши волонтеры. По-

том он бросился на землю и стал корчиться.

— Это что еще за штучки? — сказал капитан Персье, обращаясь к Уркаду. — Уберите мне эту гадость!

Увести Верзилу было трудно. Он схватил булыжник и стал бить себя по голове. Он упал, обливаясь кровью.

После него сошли с ума еще двое. Один стал хлопать в ладоши и громко петь. Другой зашел за дерево, разделся донага, лег в грязь и стал неистово кричать и выть.

— Объясните этому легионеру, что здесь не родильный дом и кричать нечего! — сказал капитан Персье Уркаду и брезгливо посмотрел на командира полуроты, к которой принадлежал сошедший с ума, на молодого лейтенанта Демартини, недавно переведенного к нам из марокканских стрелков.

Но лейтенант Демартини не замечал ни взгляда командира, ни безумия солдат.

— Сегодня туман! — сказал он. — Как в утро Аустерлица...

Лейтенант Демартини донашивал свою прежнюю форму: на нем была живописная полосатая джелаба из верблюжьей шерсти. Он все время то кутался в нее, то распахивал.

Капитан не замечал его. Капитан Персье не поворачивал головы и не раскрывал рта без крайней надобности.

— Оркестр играет только одну ноту, — снова заговорил лейтенант. — Меняется только ритм.

Из попыток лейтенанта заговорить с командиром ничего не выходило.

— Вы не находите, господин капитан, что сейчас — это только лирическое аморозо? Но будет и фортиссимо! Как в жизни!..

Капитан Персье продолжал сидеть неподвижно и молча.

Я взглянул лейтенанту в лицо. Он был бледен и прозрачен. Его глаза уже были похожи на глаза Эль-Малека.

Франши расплакался. Лум-Лум встряхивал его за плечи.

— Конечно, каждому уже хочется убивать, потому что уже возбужден аппетит,— говорил Лум-Лум. — Но нельзя терять голову. Все надо делать с умом. Надо постараться дожить до вечера. Вечером будет смешно.

Я слышал его слова, как через толстую стенку. Кто-то лил мне в рот коньяк, но мне казалось, что я пью воду.

— Один из моих предков, — снова начал лейтенант Демартини, — славный солдат императора, солдат Египта, Испании и Ватерлоо...

Капитан Персье резко перебил его.

— Ступайте в свою полуроту!..

Вдруг канонада смолкла. Мы повскакали

с мест. Мы стали кричать громко, как глухие. Жажда действия потрясала нас. Неподвижность была нестерпима.

Но очередь бежать в атаку еще не пришла. Пронзительно заиграли трубы.

Взберешься ли ты,
Взберешься ли ты,
Взберешься ли ты
На пригорок, Пьеро?
Взберешься ли ты на пригорок?

Сигнал, однако, подавали не нам, а сенегальцам. Бешенство нас мучило. Какие-то птички вертелись в воздухе. Это было и вовсе нестерпимо.

Сенегальцам было холодно. В тумане майского утра их трясла лихорадка. В атаку они выбежали, держа винтовки подмышками, как зонтики, спрятав руки в карманы, за пазуху, в рукава. Их командир держал в руках палку.

Поле было трудное. Почва была размыта долгими дождями, комья глины прилипали к ногам. Шел дождь. Холодный ветер бросал его в лицо.

Сенегальцы кричали «ура». Шагах в трехстах от немецкой траншеи их встретил орудийный огонь. Бешено брызнули пулеметы. Обезумевшие стрелки стали бессмысленно метаться по полю. Они двигались кучками наудачу. Они забыли, что надо передвигаться вперебежку и укры-

ваться в ямах и воронках. Они метались под огнем и кричали «ура». Выдыхаемое тысячами этих обреченных «ура» дрожало в мутном утреннем тумане и было похоже на вой чудовища. Командир бросил свою палку. Подобрав с земли ружье убитого стрелка, он побежал вперед. Больше половины батальона уже лежало на земле. Остальные, продолжая кричать, ворвались в немецкие окопы.

Мы ждали сигнала. Нас била лихорадка.

Мы были совсем измучены, когда капитан кивком головы приказал, наконец, сержантам построить людей.

Оставалась минута. Полминуты. Все старались говорить шопотом. Торжественное напряжение охватило нас.

Ухватившись рукой в перчатке за выступ камня, капитан вскарабкался на шоссе.

— Вперед! — негромко сказал он.

Мы взбирались торопливо. Мы хотели пуститься бегом. Мы уже ничего не боялись! Рассудок уже не мешал нам. Он переместился по ту сторону человеческих понятий. Мы хотели убивать.

Капитан стоял со стэком в одной руке и с револьвером в другой. Он стоял, как укротитель. Он только на одну минуту повернул к нам свое сухое лицо. Бегло взглянув на нас надменными глазами, он

пошел вперед не торопясь, и все сразу стало будничным.

Мы скользили по размытой глине и спотыкались о деревья и пни, которые сюда выбросило из лесу во время бомбардировки. Было трудно итти.

Я услыхал позади себя взрыв смеха. Обернувшись, я увидел, что серб Банкович из четвертого взвода бежит в кусты. С ним приключилась медвежья болезнь. Он перекинул винтовку за спину по-охотничьи, а сам бежал, раскорячив ноги. Кто-то смеялся. В воздухе визжал снаряд. Кто-то закричал: «Санитары! Санитары!» Санитары были не нужны. Банковичу оторвало голову.

— Сегодня вообще будет ломка, старик, — на ходу сказал мне Лум-Лум. — Сегодня на перекличку отзовутся не все.

Немцы усилили заградительный огонь. Передвигаться сделалось трудней.

Кто-то споткнулся о неразорвавшийся снаряд. Снаряд разорвался и убил троих.

— Снаряды разрываются, точно дверь хлопает, — сказал я Лум-Луму.

— Это дверь на тот свет. Вход свободный! — ответил он.

Мы шли. Капитан Персье шагал впереди роты, как лунатик, прямой, плоский и несгибающийся. Опустив углы рта, он смотрел на нас с брезгливой снисходи-

тельностью: мы пригибались и ложились наземь во время разрыва снарядов.

Я, по обязанности ординарца, все время держался рядом с ним.

— Какого чорта ты жмешься к командиру? — с раздражением шепнул мне Лум-Лум. — Все равно рота сегодня осиротеет. Уходи от него подальше.

Мы дошли до того места, где огнем были встречены сенегальцы. Они лежали кучками и в одиночку. Сержант, раненный в живот, еще катался по земле. Его лицо уже пожелтело. Он натянул себе на лицо шинель, чтобы никто не видел, как он умирает.

В нескольких шагах от него хрипел могучий негр. Негр лежал на спине, раскинув руки и бедра: ноги выше колен были оторваны.

Капитан переступал через убитых и раненых. Он смотрел на них с таким же брезгливым высокомерием, как на нас.

Я опять очутился рядом с Лум-Лумом.

— Считается, — сказал он, — что капитан — отец роты. Я чувствую себя сыном самой гнусной зебры на свете. Я хочу остаться сиротой, Самовар.

Мы шли в бой. Нас вел человек, который за долгие месяцы командования ни разу ни с кем из нас не говорил, потому что презирал нас.

Это брезгливое хладнокровие было тяжело. Мы пустились бегом. Мы прорвались через окопы первой и второй линии, где заканчивалась драка между сенегальцами и немецкими солдатами. Мы пронеслись бурей в деревню, стреляя и швыряя гранаты. Мы убивали все, что можно было убить. Мы позабыли членораздельную речь. Мы кричали: «А-а-а!» Мы убивали с тем же криком, с каким родились.

Полуразрушенная церковная колокольня все еще странным образом держалась вопреки всем законам войны. На наших глазах она вдруг свалилась, получив решительный удар. В последний раз прозвенел громадный колокол.

Немецкие солдаты стреляли из окон. Франши навел на немецкого пехотинца револьвер, поднятый с земли, и несколько раз нажал курок, но револьвер был пуст. Пузырь проломил немцу голову рукоятью и побежал дальше.

Кюнз метал ручные гранаты в окна домов. Кюнз был лучший гранатчик в батальоне. Позади него стояло несколько человек. Они только подавали ему гранаты, а он швырял их и швырял. Дома были разбиты и разрушены. Там уже никого живого не было, но Кюнз все швырял свои гранаты. Когда гранат нехватило, мы стали вырывать булыжники из мостовой, и Кюнз швырял булыжники.

Легионеры первой роты дрались с немцами в переулке. Они дрались, лежа на трупах и забаррикадировавшись трупами. И наши, и немцы побросали с себя шинели и куртки и изо всей силы швыряли друг в друга ручные гранаты... Перескакивая через трупы, мы бросились в переулок. Осколки снарядов, черепица, снесенная с крыш, листья, сбитые с деревьев огненным ураганом, — все смешалось. С бешенством, с восторгом мы, крича, бежали вперед.

Я потерял из виду капитана. Все смешались в рядах. Командования и руководства не было. Люди были охвачены азартом, они убивали и все равно были неспособны слушать приказания.

Внезапно я увидел совсем близко от себя лицо Лум-Лума.

— Куда он девался? Куда девался капитан?

В конце переулка виднелась каменная ограда кладбища. Немцы, отстреливаясь, бежали туда. Мы пустились им наперерез. Уже у самой ограды я увидел капитана Персье и подбежал к нему. Пригнув меня к земле, он вскочил ко мне на спину и занес ногу за ограду.

Капитан не успел перелезть через ограду: он свалился на меня как бревно. Когда я с трудом высвободился, он лежал на правом боку, прислонившись спиной к

большому дереву. Куда попала пуля, не было видно. Глаза были открыты, но смотрели без высокомерия. Капитан Персье был мертв.

— Нечего с ним возиться — он поломал трубку. Идем, Самовар! — внезапно услышал я голос Лум-Лума.

Он стоял в двух шагах от меня. Больше никого не было на площадке.

Лужа крови собралась под головой убитого. Небольшая дырочка видна была в темени, чуть влево от правого уха. Я взглянул на Лум-Лума. Мы встретились глазами. Я понял.

Песок быстро впитывал кровь.

— Что ты смотришь?— сказал Лум-Лум.— Это земля вспотела. Табак у тебя есть? Земля давно потеет кровью, дружище Самовар.

Я положил капитана на спину и свел его руки к телу. Револьвер выпал из правой, за левой потянулся стэк: он висел на золотом браслете.

— Дай табаку,—повторял Лум-Лум.— Когда я найду того парня, который стащил у меня кисет, я ему поломаю морду. Пропал мой кисет! — говорил он. — Совсем пропал. Дай табаку, Самовар!

Я стал искать в карманах табак и трубку и внезапно почувствовал, что у меня прошла моя ярость.

Командир был олицетворением безвы-

ходности, непоправимости нашего несчастья. Его смерть произошла так просто, так незамысловато! Больше мне не хотелось убивать, сражаться, бросать гранаты, лазить через ограду на кладбище, чтобы продолжать войну. Все это как-то сразу сделалось ненужно.

Еще трещали выстрелы и взрывались бомбы, из деревни еще доносился гул продолжающейся битвы, а на кладбище стояли вой и рев,—туда ворвались через другие проходы марокканские стрелки, — но мы с Лум-Лумом, точно по волшебству, оказались выключенными из общего движения. Мы очутились как бы в тишине. Мы ощущали покой. Исступление, царившее в нескольких шагах от нас, по ту сторону ограды, нас не затрагивало. Оно не доходило до нас.

Мы присели в стороне на груде камней. Раньше чем закурить, мы выпили коньяк —все, что оставалось от двух литров, купленных вчера утром. Выпив неспеша, мы, обнявшись, пошли по деревне. Она была пуста. В хлеву мычала корова. Белая лошадь в седле ржала у коновязи. Но тишина уже стояла на улицах, которые мы только что громили. Песок, грязь и черепичная пыль лежали на лицах убитых.

Стрелок, стоя на одном колене и укрепив ружье между камней, прижимал приклад к плечу. Но палец, лежавший на

курке, застыл, а глаз, устремленный на мушку, погас. Стрелок был мертв. Он не участвовал больше в деяниях живых. Он целился в кого-то в неведомом, потустороннем мире.

Какой-то пьяный сержант шагал посреди улицы, стреляя в воздух из револьвера и крича во всю глотку: «За мной! Бей немцев! Где они, боши?»

Лум-Лум бросил в него булыжник. Пьяный упал, обливаясь кровью. Мы пошли дальше.

У полуразрушенного дома над трупом немецкого офицера жалобно выла собака. Кролики бегали по двору. Визжала раненая свинья. Убитая курица лежала на пороге. Мы вошли в этот дом. Я взял себе офицерский палаш, Лум-Лум напялил каску. На ночном столике стоял граммофон.

— Ты умеешь играть на этой шарманке? Правда? — спросил Лум-Лум, обрадовавшись. —Заведи скорей! Повеселимся!

Я поставил пластинку. Граммофон заиграл вальс из «Веселой вдовы». В буфете оказалось вино. Это было Поммери.

— Жизнь, право, не так уж прекрасна, Лум-Лум! — сказал я. — Разопьем это вино, хотя оно и краденое.

— Ладно, — согласился Лум-Лум, разваливаясь в кресле. Он пришел в хорошее настроение. — Не откажите только в любезности налить и мне, полковник. Выпьем

за убитых, и чорт с ним, что будет завтра.

Мы пили вино, слушали граммофон и громко смеялись.

Был ли окончен бой на кладбище, мы не знали, и это было нам безразлично.

Стуча башмаками по мостовой, прошла линейная пехота. Люди размыкали ряды, чтобы обойти покойников и убитых животных, валявшихся посреди дороги. Солдаты оборачивались в нашу сторону, вслушиваясь, откуда доносится граммофон.

Лум-Лум высунулся в окно.

— Ребята!—кричал он.—Приходите потом потанцовать, у кого ноги не оторвет...

Лум-Лум валял дурака.

— О, поверьте, достойный Самовар! — сказал он мне. — Я глубоко сожалею в этот час, что вы не бабенка. Иначе на сей постели я воздал бы вам почести, достойные этого ранга.

Мы веселились. В ход пошла четвертая бутылка Поммери. Мы вспомнили и о капитане.

— Выпьем за его здоровье! Он был дорог всей роте.

Мы почтили память капитана вставаньем, чокнулись и поставили новую пластинку на граммофон. Это было «Аргентинское танго».

— Согласись, что при нынешних ценах на свинец, переделка капитана в покойника обошлась недорого.

Мы пили. Мне пришла в голову одна подробность.

— Лум-Лум! — сказал я. — Если не вся рота перебита, то люди могут заинтересоваться, почему это пуля с кладбища забралась к капитану в коробочку через затылок, вместо того, чтобы пройти через лоб. И как раз, когда кроме нас с тобой там никого не было! А? Каково твое мнение?

Лум-Лум помолчал. Мой вопрос озадачил его.

— Значит, Самовар, по-твоему, надо пойти на всякий случай дополнительно поломать ему морду? — сказал он.

Пластинка вертелась на граммофоне. Мы не дослушали ее до конца и, взяв оружие, вышли.

Капитан Персье лежал на прежнем месте. Но сделать с ним ничего нельзя было: шагах в десяти выстраивались остатки марокканского батальона. Войска, взявшие позицию с бою, теперь передали ее линейной пехоте, а сами уходили назад, в тыл. Нас потянуло сразу уйти из этого места. Мы точно забыли, зачем пришли. Мы сказали сержанту, что потеряли свою часть, и он позволил нам стать в ряды.

Марокканцы покачивались как пьяные и не узнавали друг друга. Никого не удивило, что и мы еле держимся на ногах: все были пьяны от вони, шума и исступления.

Нас увели в деревню, где была база колониальной дивизии. Здесь мы с Лум-Лумом встретили знакомого легионера Поджи из 4-го батальона.

— Сегодня, старики, насчет жранья хорошо будет, — весело сообщил он. — Сегодня жранья дадут богато, потому что многие не сядут за стол. Идем! Идем к арабам! Они уже варят кус-кус.

Мы вошли во двор, где толпились тюркосы. Люди сидели вокруг костра в нетерпеливом ожидании. Они смотрели, как работает повар. Гнусавые арабские флейты, всхлипывая, пели о тех, кто под знаменем Магомета и его дочери Фатьмы погиб на поле брани от руки неверных. Страна вечной услады будет обиталищем этих избранных. Там будут они есть кус-кус и мешуи. Гурии будут служить им.

Приторный запах вареной баранины подымался над котлом. Повар, голый по пояс, швырял туда пригоршни чесноку и перца и целые веники лаврового листа. Он деловито помешивал свое варево и выплескивал накипь. Вечерело. Голова у повара была бритая, лишь клочок волос оставил правоверный в честь пророка. В лихорадочном огне костра его тело отливало бронзой.

Уже было темно, когда мы стали хлебать жирный и пряный суп и разрывать руками громадные куски мяса. Мы ели

захлебываясь, с тем же азартом, с каким утром убивали. Все неизрасходованные остатки сил были обращены на пищу. В котле лежал рацион живых и паек убитых, — мы съели все.

Мы стали отваливаться от котла, ослабевшие и пьяные, лишь тогда, когда еда была истреблена дотла.

Мы лежали на траве — Лум-Лум, я, Поджи из 4-го батальона и трое арабов.

— Если я умру сегодня ночью, Самовар, напиши на моей могиле: «Он умер, хорошо поев». Благодарю тебя за это заранее, — сказал Лум-Лум.

Теплая ночь окутывала нас. Небо, полное звезд, расстилалось над нами. Было покойно. Хотелось быть маленьким мальчиком и видеть маму.

— Ты убивал сегодня глупо, Самовар! — сказал Лум-Лум. — Ты действовал, как мальчуган, который забрался в чужой сад за персиками и со страху хватает гнилые вместо хороших. Сразу видно дурака и студента!

— Ну, вот! — обиделся я. — А ты?

— Мое ружье чисто сегодня почти как церковное пение!— ответил Лум-Лум.

— Кстати, — шепнул я, —он так и остался с недобитой мордой!..

— Чорт с ним, старик! Чорт с ним!— ответил Лум-Лум после мимолетного раз-

думья. — Я тебе вообще давно хочу сказать кое-что.

Он лишь после паузы буркнул:

— Мне больше неохота воевать!.. Понял? Мне надоело! Ну, просто надоело! Красивенькая история?..

Один за другим возвращались с фронта батальоны, участвовавшие в атаке. Однообразный топот ног усыплял.

— Однако, — сказал я, — где все-таки наши?

— Да! —подхватил мой вопрос Поджи. — Где ваши? Неужели все перебиты и некому возвращаться? Это было бы самое удачное для вас, мои красавцы! Я представляю себе морду вашего капитана, когда он вернется сюда и увидит, что вы оставили поле битвы, чтобы пойти к арабам лопать кус-кус. С капитаном Персье, говорят, шутки плохи.

— Ерунда!— возразил Лум-Лум.— Нам с Самоваром капитан Персье слова не скажет. Мы с ним в самых лучших отношениях. Не так ли, Самовар?

— Капитан Персье? Не верю!.. У нас бы ему проветрили кишки при первом удобном случае. Клянусь тебе в этом, рюско!

— Что-о-о? Как это можно убивать своих командиров? — строго сказал Лум-Лум. — Выпускать этак вот на ветер офицерские кишки или, как хвалятся некото-

рые, стрелять офицерам в затылок во время атаки? Это чорт знает что! Это прямо чорт знает что!..

Ирония, звучавшая в голосе Лум-Лума, не доходила до Поджи.

— Я тебе так скажу, Лум-Лум, — серьезно возразил он. — Я тебе скажу насчет кишек и затылка, что я не хирург. Но я считаю, что если тип стоит у тебя поперек жизни, — бей его, куда ближе, и не попадайся. Это вся теория.

Меня смешила его серьезность. Я чуть было не рассказал Поджи, что вышло с капитаном Персье, но Лум-Лум незаметно толкнул меня локтем и строго посмотрел. Я замолчал.

В нескольких шагах от нас, на заднем дворе протрещал короткий револьверный выстрел. За ним через минуту последовало еще несколько. Послышалось необычайное, протяжное конское ржание.

На заднем дворе оказался ветеринарный пункт. Двое здоровенных санитаров и какой-то оглохший и суматошливый артиллерист пристреливали больных и раненых лошадей. Револьверный выстрел в ухо кончал мучения.

Несколько туш валялось уже под забором. В углу ждал своей очереди тощий белый конь. Освещенный факелом, он глядел грустными глазами на убитого товарища и зализывал ему кровоточащие ноз-

дри. Время от времени конь тихо ржал, но это было особенное ржание, похожее на плач или вой.

— За что лошади страдают? — спросил Поджи. — За что лошадей убивают? Ведь лошадям-то война не нужна?!

— Лошади хозяйские. Их никто не спрашивает, — ответил Лум-Лум.

Мы сели за оградой на завалинке. Стрельба на ветеринарном пункте участилась. Выстрелы трещали и лошади выли. Араб завернул голову в бурнус, чтобы не слышать. Поджи, которого беседа с Лум-Лумом привела в дурное настроение, сидел мрачный.

— Лошадей не спрашивали! А нас? — сказал Поджи после долгого молчания. — Никого не спрашивали! А ведь сколько ребят сегодня не ужинали, потому что утром позавтракали немецкими пулями. Не спрашивали ни нас с тобой, ни арабов, ни этих черных парней из Судана и Сенегала. И Фрицов не спрашивали. Никого не спрашивали. Всем воткнули в морды лозунги: «За цивилизацию», «За царя», «За кайзера!» и погнали!.. Так в мясных лавках втыкают петрушку в телячьи головы! Для красоты и аппетита! И вот все портят друг другу скелеты, сами не зная, за что и почему.

Поджи становился все более мрачен. Голос его сделался глухим и сиплым.

— Я не знаю, кто хозяин, рюско! Я не знаю! Если бы я знал, кто хозяин, я убил бы его за все то, что он наделал. Я бы долго убивал его.

Я переглянулся с Лум-Лумом. Я хотел рассказать, как погиб капитан. Но Лум-Лум смотрел строго.

Батальоны с фронта все шли и шли. Показались остатки и нашей роты. Впереди при свете факелов несли на носилках труп капитана Персье. Рука свесилась с носилок, и стэк болтался на браслетке.

— Убит! Персье убит! — сказал кто-то рядом с нами.

— Что же это за игра? — сдавленным голосом произнес Поджи. — Раненых солдат оставляют, а убитого капитана уносят! Что это за игра?

— Такая игра! — ответил Лум-Лум. — Быть может, он не убит? Быть может, он только ранен?

Поджи пустился вдогонку мертвому капитану. Труп уплывал в глубину темных и пустынных улиц, сопровождаемый угрюмым грохотом солдатских ног.

Вскоре Поджи вернулся.

— Убит! — сказал он. — Тело будет отправлено в Париж. Майор Андрэ приказал. Воля покойного.

Поджи говорил быстро, возбужденно. Он отвел нас в сторону и шопотом, чтобы не слышали арабы, прибавил:

— Ваши ребята говорят — пуля в затылке! Кто-то из своих! Видишь, старый окорок? Не все такие кретины у вас в роте, как ты, Лум-Лум!

Поджи был весел. У него играли глаза.

Лум-Лум строго взглянул на него.

— Я невысоко ценю таких солдат, как ты, Поджи! С такими солдатами нельзя вести войну.

Вскоре мы ушли с ним в роту.

— Старый чорт! — сказал я. — Зачем ты морочишь голову этому Поджи?

— А чего он прилез из другого батальона учить нас? — огрызнулся Лум-Лум. — Пускай каждый сам бьет своих капитанов! Давать советы другим — это дело адвокатов и акушерок! С такими легионерами нельзя вести войну!

ПОСТ № 6

I

На новую позицию мы выступили в тот час, когда ночь едва начала сменяться рассветом.

Там, где от шоссе отрывалась тропинка, убегавшая в ходы окопных сообщений, солнце осветило невысокий столб и прибитую к нему доску с надписью:

«Климатическая станция для нервных больных. Гостиница «Под открытым небом». Блиндированные номера для лиц хрупкого телосложения. Изысканная кухня. Живописные окрестности. Интересные экскурсии».

— Это очень мило, — заметил Франши, — но я бы лучше всего поехал домой. Тоже интересная экскурсия.

Ходы сообщений были размыты дождями и передвигаться было трудно: стенки обвалились, проход был забит. Пробираться приходилось почти по открытому месту.

Солдаты ругались шопотком. Но когда взошло солнце и небо сделалось голубое, как нарисованное, мы, не обращая внимания на сержантов, которые требовали тишины и грозили арестом, стали громко и всласть ругаться на всех наших языках.

Продвижение шло медленно. Позиция показалась нам хуже всех, какие мы занимали и видели за все время войны. Так казалось нам почти каждый раз на новом месте.

Между нашими и немецкими траншеями, почти на середине, шагах в пятидесяти от каждой, разделенные небольшим промежутком метров в пять-шесть лежали два глубоких рва. Насыпи на краях рвов заслоняли противникам вид друг на друга. Эти рвы, которые ни одна сторона не хотела уступить другой, были почти доверху набиты трупами.

Все вокруг было изъедено воронками снарядов. Судя по пням, местность раньше была покрыта растительностью. Здесь недавно был лес, быть может, сад. Но зем-

лю вывернуло наизнанку, не осталось ни травинки. Все было завалено мертвецами. Мертвецы сразу стали душить нас запахом.

— Это паршиво! Это очень паршиво! Это совершенно паршиво!—нервничал наш временный ротный командир лейтенант Рейналь.

Впереди позиции было выкопано несколько глубоких ям. Они назывались постами. Наш взвод был доволен, когда нас отправили в эти ямы: на позиции мы были слишком близко к майору Андрэ.

Лум-Лум, я, Карменсита, Пеппино Антонелли по прозванию Колючая Макарона, Незаметдинов и Мочевой Пузырь — все мы попали в пост № 6. Дни шли скучно. Стрельбы не было. Люди резались в карты.

На третий день наши бомбометы или «лягушки», как их звали в армии, всадили три снаряда в немецкое расположение.

Тотчас немецкие бомбометы выпустили три снаряда в нас. Один разорвался у самого края рва, где лежали мертвецы. К нам в яму закатилась мертвая голова. С тех пор ежедневно по утрам шла стрельба. Ее вели артиллеристы, но мишенью служила пехота.

Это вошло в ежедневный обиход. Утром нам приносили ведро кофе и хлеба. Кофе успевало остыть, в ведро со стен прохода

осыпалась глина. Ровно в девять утра разрывалось три снаряда с каждой стороны.

— Пробило девять, — говорили мы.

— Ничто не приносит столько пользы организму, как регулярная жизнь, — объяснял Лум-Лум. — Доктора очень хвалят!

Во время стрельбы мы, сидя в тошнотном ожидании смерти, однообразно ругали артиллеристов за то, что они устроили себе из нас ярмарочный тир.

— Артишоки могут быть уверены! Первому, кого я встречу, я ломаю морду, — клялся Лум-Лум.

Немецкие посты, караулившие рвы с мертвецами с противоположной стороны, в одном месте проходили совсем близко от нас.

Однажды мы услышали пение.

— Боши песни орут, а мы, как лопухи, молчим, — угрюмо сказал мне Незаметдинов.

Напруживая жилы на шее, он тотчас запел:

Тула дуло перевернула,
Назад козырем пошла.

Вдруг из немецкой ямы прилетели русские матюки. Немного — всего два, да еще и с нечистым выговором, но понимающие сразу узнали родную речь.

Незаметдинов замер.

— В чем дело? — спросил Лум-Лум. — Чего он испугался?

Незаметдинов не испугался. Он замер от радости. С необыкновенным подъемом наколол он на штык пробегавшую крысу и, раскачав, швырнул в сторону немцев, одновременно с несвойственной ему живостью посылая многоэтажную, сложную и витиеватую брань. Незаметдинов необычайно развеселился, когда и от соседей прилетело ответное приветствие — дохлая крыса в сопровождении соленой ругани. Незаметдинов чувствовал себя как дома, в деревне.

— Балуются парни! Вон чего загибают! — сказал он.

— Пся крев! — кричал тонкий голос из окопа. — Холера!

В немецком окопе сидели поляки. Это открытие внесло большое разнообразие в нашу жизнь. С этих пор, когда надоедало играть в карты или в сотый раз рассказывать друг другу надоевшие истории, мы переругивались с людьми из немецкой ямы.

Все — и Лум-Лум, и Мочевой Пузырь, и Хозэ Айала, и Колючая Макарона — учились у меня и Незаметдинова ругаться по-русски. Коверкая язык, каждый соответственно своему национальному акценту, они переругивались с немцами на русском матерном. Это развлекало.

Из немецкого окопа тоже швыряли крыс и ругались, но чаще по-польски.

Так велось из смены в смену, из недели в неделю. Это и была война.

II

В тыловой деревне, куда роту уводили на отдых, наша компания завела знакомство с одной рыжей огородницей. Муж ее уже три года шатался по фронтам. Мадам Зюльма, не очень молодая, но крепкая и еще свежая женщина, бедствовала: огород зашвыряли снарядами, пособия от муниципалитета нехватало. Мадам Зюльма занималась рассылкой писем. Она бомбардировала ими мэра, префекта, командира полка, в котором служил муж: она требовала увеличения пособий. Ответа не получалось.

Последнее письмо, которое я писал под ее диктовку, было адресовано военному министру.

«И того уже вполне довольно, — диктовала мадам Зюльма, — что моему мужу, Алоизу Вассуань, сорок два года, а его нет дома. Я нахожу, что это пора кончать. Если в течение месяца я не получу удовлетворения, я напишу моему мужу, Алоизу Вассуань, в полк и заберу его домой и будь, что будет. Вот, господин министр, что я решила. Говорят, на военных заводах

женщинам платят по десять и двенадцать франков за выделку снарядов. А моему мужу, Алоизу Вассуань, теперь платят пять су в день за то, чтобы получать снаряды в морду. Я считаю, что разница чересчур велика. Вчера, когда я была в церкви, я официально вверила себя св. Медару и своего мужа, Алоиза Вассуань, я также официально вверила св. Медару. Это письмо я поручаю, господин министр, св. Варваре, чей праздник наступает завтра, и надеюсь, что вы поймете, господин министр, что у меня только одно слово, но твердое, и что если не будет увеличено пособие, я заберу своего мужа, Алоиза Вассуань, из полка и будь, что будет».

Мадам Зюльма вывела под письмом свою подпись, что стоило ей немалого труда. Когда прошли все сроки, а письмо оставалось без ответа, мадам Зюльма озверела. Она поносила правительство и парламент, которые, — как она выражалась, — «только и хороши, чтобы затеять несчастье, но не способны положить ему конец». Она собирала вокруг себя кучи женщин и говорила им, что женщины должны перестать рожать, так как дети уже не принадлежат матерям, а принадлежат чорт его знает кому, кто пихает их в огонь.

— Вот уже забрали семнадцатилетних! Когда на войну угоняли отцов, они едва успели побывать на первом причастии. А

теперь уже гонят и их! Лучше разводить крыс, чем ребят. Крыс я, по крайней мере, сама бросаю в огонь, а детей бросают в огонь другие!..

Мадам Зюльма кричала, что война нужна только людям, которые имеют чин не ниже генерала и живут не ближе тридцати километров от фронта.

— Солдатам и огородникам, — говорила она, — война не нужна! Я всю жизнь мечтала иметь сережки с голубыми камушками и не имела и обходилась. Обойдусь и без Эльзас-Лотарингии.

Мадам Зюльма стала привлекать к себе внимание. Но когда однажды к ней пришли Ван-дер-Вааст и Ван-де-Нээст, бельгийские таможенники не у дел, негласно несшие у нас полицейскую службу, она их так встретила, что оба поспешно ретировались, сопровождаемые хохотом ребят, женщин и группы тюркосов, которые на огороде мадам Зюльмы грелись на солнце.

Для поправления дел мадам Зюльма стала торговать вином.

К чести Легиона нужно сказать, что мы, наша рота, особенно гарнизон поста № 6, пользовались особым расположением мадам Зюльмы.

— Вы, в Легионе, бóльшие дураки, чем все прочие, — говорила она. — Я считаю, что даже французу незачем было соваться

на эту проклятую войну, если он не больше, чем огородник. Но чтоб иностранцы, да еще добровольцами поперли — этого я совсем себе не представляю! Вот вы, мсье Самовар! Вы русский и студент! Неужели вы полезли в огонь добровольцем? Ваша мама могла бы зарабатывать большие деньги, если бы показывала такого дурака в цирке!..

Я работал одно время на кухне и таскал отттуда кое-какие продукты. Немного мы прикупали. Мадам Зюльма готовила нам необыкновенные супы из лука и сыра. Она ела с нами, мы пили вино, напивались все вместе, пели песни, целовали ее и поочередно уходили с ней в каморку.

Вскоре это стало известно. Все солдаты узнали, что в третьем домике справа от церкви живет Зюльма, которая пускает солдат. В деревне стали худо говорить о ней, но она исступленно стояла на своем.

— Да! Да!— кричала он.— Я становлюсь шлюхой! Все женщины должны делать то же самое! Пускай будет удовольствие этим бедным солдатам, пока им не оторвало самое необходимое. Стыдно пусть будет тем, кто сидит в Париже, во дворцах, и вертит ручку шарманки. Им пусть будет стыдно!.. Они обратили мужей в пушечное мясо, а жен и невест — в мясо постельное. Пусть они знают это! Я, мадам Зюльма Вассуань, которая никогда и не

думала делать глупости ни с кем, кроме как с моим мужем, Алоизом Вассуань, я становлюсь шлюхой! Бедная Франция!

Лум-Лум особенно прочно утвердился в доме мадам Зюльмы. Сначала он работал на огороде, потом делал мелкие плотницкие починки, потом он стал ходить в доме без куртки и принимал посетителей как хозяин.

Однажды он пришел от Зюльмы под утро, плюхнулся на солому рядом со мной и шепнул мне:

— Самовар, ты спишь? Я принес кое-что для чтения.

Он сунул мне небольшую бумажку.

— Прочитай! Говорят, солдаты непременно должны читать это.

«Товарищи! В России революция. Солдаты бросают оружие и говорят своим генералам: «Воюйте сами, нам война не нужна». Товарищи! Следуйте примеру русских товарищей. Война эта не ваша, вам она не нужна. Время болтовни прошло. Пора действовать. Бросайте оружие. Кричите: «Долой войну и да здравствует мир».

Внизу была подпись: «Рабочий и солдатский комитет борьбы за мир».

— Где ты взял это, Лум-Лум?

— К Зюльме приходил какой-то артиллерист. Он только что из Парижа, из госпиталя. Говорит, в Париже на вокзале

раздают это солдатам, едущим на фронт. В поезде тоже расклеены такие бумажки, но жандармы сдирают их. Скажи мне, что это значит? Опять голову морочат нам? Или как? Кто это такой — «Рабочий и солдатский комитет»? Опять генералы и миссионеры? Или кто? А самое главное вот что: расскажи мне правду про русскую революцию. Что это такое? Почему тут сказано: «следуйте примеру русских товарищей»? Что это за пример? По-моему, эти бумажки подсовывают немецкие шпионы. Расстреливать бы надо...

На следующий день, уже в окопе, Лум-Лум заставил меня прочитать немецкую газетку, в которую оказалась завернута очередная крыса, брошенная нашими соседями.

Это была газета, издававшаяся для солдат. Там рассказывалось о разложении русской армии, о дезертирстве, о бегстве русских перед победоносными немецкими войсками, о попытках братания, на которые немцы отвечают штыками. Газета, ликуя, описывала полный развал, царящий в русской армии, и близость окончательной победы Германии.

Я нехотя перевел. Слушали молча. Было тяжело. Когда чтение кончилось, долго сидели молча, насупившись.

— Сдают, собачины дети,— первым выругался Незаметдинов. — Недаром и царь

от их отказался! На чорта ему такая войска, ежели она Расей сдает... Эх! Видать, без царя плохо-то воевать стало...

Великое солдатское дело, происходившее в России, предстало перед нами как измена, как предательство.

— А быть может, немцы еще и врут?! — сказал Мочевой Пузырь. — Ведь в наших газетах другое пишут!

Французские газеты ежедневно сообщали, что «великий русский народ, сбросивший с себя иго царизма, с удесятеренной энергией борется за торжество права и справедливости».

«Русская революция есть первая и решительная победа над Германией», — писал Клемансо.

Мы не очень верили. Мы имели опыт: три года под ряд все газеты описывали счастливую жизнь фронта, веселый быт солдат, героический дух армии, сокрушительные победы над врагом. Мы имели опыт.

— Еще кто больше врет! — заметил Лум-Лум. — Эта немецкая или наши? В России-то все задом наперед пошло. А эти бумажки еще советуют следовать «русскому примеру». Я думаю, не иначе немецкие шпионы орудуют. Недаром артиллерист эти бумажки раздает. Наломаю Зюльминому красавцу морду. Пусть не сбивает солдат с толку.

В ближайший раз, когда мы повстречали Ван-дер-Вааста, он очень мило поздоровался с нами за руку, осведомился о здоровье, о житье-бытье, о письмах из дому.

Ван-дер-Вааст был фламандец с очень резким фламандским акцентом. Он говорил по-французски так, как будто у него рот был набит горохом.

— Ну как, мой дорогой друг? — обратился он ко мне. — Вы получаете письма из дому? Что пишут ваши родители? Они, вероятно, гордятся своим сыном-героем? Что происходит на вашей великой родине?

— Самовар имеет ту заслугу, — перебил его Лум-Лум, — что он о России ничего не знает и ничего не говорит. Но завелись какие-то фазаны, которые советуют нашим солдатам следовать русскому примеру и бросать оружие.

— Кто это? — встрепенулся Ван-дер-Вааст.

— Кто? Понятно, артиллеристы! Самая сволочь это всегда артиллеристы! Из третьей тяжелой красавчик один! Недавно приехал из Парижа, из госпиталя! Чего ты меня дергаешь за куртку, Самовар? Разве я вру? Как раз сегодня я этому красавцу бью морду.

— Правильно сделаете, — сказал Ван-дер-Вааст. — Из третьей тяжелой? До свидания, друзья!

— Ты чего меня за куртку дергал? — спросил Лум-Лум.

— Потому что ты кретин. Можно ломать шею артишокам, но это не значит, что надо предавать их в руки пандуров.

— А если он шпион? Я думаю, он не иначе — шпион! Боши должны платить за такую работу и не мало!

Вечером у мадам Зюльмы я застал непонятную сцену: мадам Зюльма била Лум-Лума по щекам.

Мне показалось, что это шутка. Но Зюльма стояла красная, разъяренная и делала свое дело с усердием. Она с трудом разжимала крепко стиснутые губы, чтобы выдавить неинтересные для моего друга слова:

— На тебе! И вот тебе, идиот, еще! И вот еще, кретин!..

Она трясла Лум-Лума, как грушу. Ордена звякали у него на груди. Но старый солдат был так ошеломлен, так растерян, что почти не защищался и не мог вырваться из ее цепких рук.

— Убери ее, Самовар, она меня убивает! — закричал он, увидев меня. — Убери ее, она помешалась!..

Я с трудом вырвал его у Зюльмы и развел их по разным углам. Оба тяжело дышали. Зюльма продолжала ругаться.

— Кто это подсунул мне такого дурака, который не умеет отличить мочевой

пузырь от лампы? Откуда берутся такие идиоты, которые не знают разницы между карпом и зайцем? Вот, полюбуйтесь! Оно носит ордена и медали! Оно таскалось по всему свету! Оно воевало в колониях! Оно три года гниет в траншеях! И оно глупо, как баран! О, бедная Франция! Сколько баранов!

— В чем дело, Зюльма, что произошло?

— То произошло, что я ему набила морду...

— Это я видел! Не будем говорить об этом. За что ты его била?

— За то, что он — полицейская шкура! За то, что он — предатель и доносчик!

Она опять рванулась к Лум-Луму. Я удержал ее.

— Главное — он баран! Вваливается сюда и с порога кричит: «Зюльма, я набил морду тому парню из третьей тяжелой, который тут у тебя разглагольствовал».— Я спрашиваю: — За что? — «Набил, — говорит, — морду, а Ван-дер-Вааст его арестовал».—Арестовал?—кричу.—За что? Тогда этот идиот ухмыляется во все рыло и сообщает: «За те бумажки!..»— Откуда он узнал про них? — спрашиваю. «А я, говорит, рассказал ему сегодня утром».

— Самовар, у меня кровь обернулась только один раз и уже я била его по мордасам. Ка-ак? Парень приезжает из Пари-

жа и рассказывает, что там начинается карусель на заводах и в казармах! Что война надоела и тылу и фронту! Что богачи стали еще богаче, а бедняки еще беднее! Что война продолжается потому, что богачи имеют министров и генералов, и те затягивают дело, чтобы дать богачам богатеть! А бедняки не имеют ни министров, ни генералов, а только свои шкуры, а это товар недорогой! Парень рассказывает, что в Париже народ недоволен, что в провинции народ ропщет, что всюду организуются комитеты против этой войны, в которой вы же, вы же, идиоты, гниете, как тухлое мясо! У меня сердце начало радоваться за моего бедного Алоиза, хотя я не знаю, простит ли он мне все гадости, которые я делаю с вами! У меня сердце начало радоваться. А этот идиот берет и доносит полиции. Видали вы что-нибудь подобное?

Лум-Лум сидел надувшись.

— Плевать!— буркнул он. — Это все политика! Меня это не интересует! Я наломал ему шею за то, что он артиллерист! Нам артишоки надоели, они у нас в горле торчат! Не правда ли, Самовар? Я не при чем. Я бил его, а он меня. В это время приходит Ван-дер-Вааст и кладет ему руку на плечо: «Вы арестованы».

Вид у Лум-Лума был неважный. Он начал понимать, что поступил глупо.

— А если он шпион, этот артишок? — пытался он сам себя утешить.

— Не он шпион, а ты — баран! О, святая дева! Как легко вести войну, когда армия состоит из баранов, которые сопротивляются, когда им открывают глаза.

Поздно вечером мы уходили, Лум-Лум был мрачен и молчалив.

Он просил меня не говорить при товарищах, что его побила баба. Гордиться нечем. Однако мучил его не только стыд, но и раскаяние. Он стал понимать, что есть живая связь между нашей постылой жизнью и принесенной артиллеристом прокламацией Рабочего комитета.

— Почему она была подписана «Рабочиий комитет», Самовар? Причем тут рабочие?

III

Ливень разразился к вечеру. Он начался неожиданно, как артиллерийская пальба. Сначала отдельные тяжелые капли падали четко, как крупные снаряды, потом дождь зачастил, как скорострельная полевая артиллерия, а потом пошел ливень, как ураганный огонь, когда больше не видно ни начала, ни конца и все смешивается в одном непрерывном потоке.

Это началось с вечера и продолжалось

всю ночь. Пост № 6 стал наполняться водой. Вода поднималась все выше.

В яме у нас было выкопано две ниши для спанья — две неглубоких выемки в стенах. Вышина их едва достигала полуметра, и пробираться туда мы могли только на брюхе. Там было грязно и душно. Гнилая солома кишела вшами. Все же мы там кое-как отдыхали.

Сейчас обе ниши были затоплены.

Ночью пришел лейтенант Рейналь.

— Дети мои, — сказал он, — в такую погоду даже буйно-помешанные не выходят в атаки. Но такая погода хороша для грибов. Вот я и пришел предупредить вас, — у вас может вырасти гриб.

Отведя меня в сторону, он прибавил:

— Майор Андрэ, который является, как известно, отцом батальона, бродит по самым далеким углам. Он ищет, не укрылся ли кто от дождя. Поняли? Гриб этот ядовитый. Делайте, что хотите, но чтоб у бойницы стоял дежурный.

В пехотном полку, где лейтенант Рейналь начал войну рядовым и за храбрость получил офицерские галуны, он был дружен с солдатской массой и поэтому считался неблагонадежным. Его спихнули в Иностранный легион, считая, что среди этого темного и разноязычного сброда он будет не так опасен. Командир батальона ненавидел его. Он презрительно называл

лейтенанта «штатским», хотя у Рейналя вся грудь была в орденах.

Лейтенант оставил нам табаку и ушел. Его предупреждение оправдалось. Вскоре после его ухода в яме сверкнул короткий луч карманного фонарика: пришел майор. Это был его первый визит к нам. Вода доходила почти до колен. Не обращая на это внимания, он прошел к месту часового. Увидев, что у стенки стоит фигура с винтовкой в руках, он повернулся назад и исчез так же молча, как и явился.

Часовой сразу ушел, и мы все отправились доставать в больших рвах балки и доски для защиты от ливня.

Было темно. Ливень не ослабевал. Найти нужные материалы было трудно. Под руки попадали покойники. Было неприятно ходить по ним и давить их сапогами. С большим трудом извлекли мы из-под них несколько обломанных бревен и понесли к себе — замостить яму.

Выбираясь из рва, мы услышали шагах в двух от себя возню и кряхтенье. Мы думали, что это наши же солдаты из другого поста.

— Дождевая вода полезна для рощения волос, — крикнул Лум-Лум в темноту. Однако нам ответили по-немецки:

— Что, — спросил чей-то голос,— у вас тоже дождь идет?

Нас обрадовала эта неожиданная встре-

ча. Мы остановились, чтобы помочь немцам вытащить бревно, торчавшее из земли. Когда это было сделано, немцы вежливо сказали нам «мерси» и унесли бревно к себе, а мы потащили свою добычу к себе.

Мы бегали ко рвам за материалом несколько раз в течение этой ночи и каждый раз встречали немцев. Все были заняты одним делом.

Ливень, начавшийся внезапно, как бомбардировка, так же сразу и прекратился.

— Артиллерия неприятеля приведена к молчанию, — определил Пузырь стилем официальных сводок.

Когда солнце взошло, мы увидели друг друга. Мы стояли мокрые насквозь, по колена в воде, испачканные глиной, грязью и вонючей трупной жижей.

У всех у нас были распухшие лица. В глазах неуклюже и тяжело ворочалось безумие.

— Ну вот! — сказал Хозэ.

Никто ничего не ответил.

Вода не стекала.

— Эй, крабы! — раздался из глубины коридора голос Джафара. Турок принес кофе. — Кому чашечку помоев? Кому помоев? — кричал он.

Мы стали вытаскивать из карманов свои жестяные кружки.

Однако прошла минута, другая, а Джафар не появлялся.

— Эй, зебры, — кричал он, — уберите караульных! Ей-богу, уберите, а то они не пропускают.

— Он хорошо выспался на кухне, эта скотина, — сказал кто-то.

Джафар продолжал кричать:

— Уберите контролеров! Они меня не пропускают с помоями!

— Кто хочет дать ему в рыло? — усталым голосом спросил Лум-Лум.

Три человека медленно отделились от стенки.

— Не надо троих! Одного довольно. Иди ты, Самовар!

Шагах в сорока по прямой линии от нашей ямы коридор поворачивал за угол. А за поворотом шагах в десяти стоял Джафар с ведром в руках. Он стоял перед препятствием. Это были два облепленных глиной, полуистлевших трупа ганноверских стрелков. Они вывалились из своей могилы в стене прохода и снова приняли участие в войне: они загородили доставку нам продовольствия.

— Убери этих дураков, рюско! — сказал Джафар. — Зачем вы их тут положили? Где вы их взяли? Вообще кто они такие?

Джафар пытался передать мне ведро с кофе и хлеб из рук в руки. Но трупы,

вытянувшиеся между нами, были длиннее наших рук. Джафар предложил убрать покойников.

— Раскачаем и айда наверх! — сказал он.

Их, однако, было нелегко поднять: они расползались под руками. Мне надоела эта возня.

— Да ну тебя к чорту, — сказал я Джафару. — Ты подносчик или я? Выкручивайся, как умеешь, а нам давай кофе.

Тогда Джафар наступил на покойников. Его ноги глубоко погрузились в рыхлые мертвые тела.

— А ну, кому помоев? Кому чашечку помоев? — весело кричал он, вбегая в пост.

Кофе успело простыть. В нем было мало сахару.

Джафар, по обыкновению паясничая, говорил об этих «дураках», что они «развалились посреди дороги с единственной целью не дать легионерам пить утренние помои».

Тут я догадался, что именно задерживает выход воды из ямы. Мы отправились к ганноверским стрелкам. Когда нам удалось выбросить их из коридора на поверхность, вода схлынула. Осталась только липкая глинистая грязь. Мы радостно вздохнули.

Скоро наша артиллерия всадила обычные три снаряда в немецкое расположе-

ние. Немецкие пушки выпустили три снаряда в нас. Нас обдало вонючей грязью.

— Пробило девять! — сказал кто-то.

День начался.

IV

Этот день оказался отмечен особыми событиями.

— Ступай, Макарона, в роту! Попроси, чтобы прислали смену. Иди мокрый, как есть. Пускай видят, — распорядился Лум-Лум.

От мокрой шинели итальянца, от его брюк и обмоток валил густой и противный пар. Макарону бил озноб.

— С какого поста? № 6?

Минуя канью лейтенанта Рейналя, Уркад отправился прямо к майору и вышел от него, улыбаясь.

— Десять суток старшему по команде Бланшару! За напоминание.

В посту известие произвело большое впечатление.

— Десять суток?! — сказал Лум-Лум. — Он плюет нам в рыло? Хорошо!

В условиях походной жизни сажать солдат под арест трудно. Но за штрафное время конфискуют жалованье.

— Значит, десять суток я работаю ради прекрасных глаз принцессы?! — гово-

рил Лум-Лум со злобным весельем в голосе. — Ну, если так, отвернитесь, принцесса, — я снимаю штаны, они у меня промокли, я должен их просушить.

Лум-Лум проворно скинул штаны, куртку и белье и, выбросив все на парапет, на солнце, остался, в чем мать родила.

Мы все сделали то же самое. Запасное белье было затоплено. Пост № 6 охранялся шестью совершенно голыми людьми. Винтовки были облеплены и забиты грязью.

В наш пост, как в самый отдаленный и связанный самым неудобным коридором, к тому же и штрафной, начальство не заглядывало. Не до нас было и немцам.

— Гляди, герман так само шинелки выкинул, — заорал Незаметдинов и весело заматюкался.

Немцы, действительно, тоже сушили на парапете свое барахлишко. Мы обрадовались. Это не было злорадство, — вот, мол, и неприятелю плохо. Это была настоящая радость. Люди назывались неприятелями и врагами, а вот они голые, как и мы, доверчиво сушат при нас свои вещи. Когда к нам в яму шлепнулась дохлая крыса, мы все весело смеялись. Как-то стало даже легко на душе. Начальство обидело нас? Плевать! Мы — хорошие парни, живем дружно и дружим даже с его, начальства, неприятелем.

— Сейчас, — начал Лум-Лум, — Стервятник думает: «Вот есть у меня легионер Бланшар, по прозванию Лум-Лум! Тип, которого видели с бородой и винтовкой в Марокко, в Габоне, в Тимбукту! Хоть я и вклеил ему десять суток, а он стоит сейчас на посту № 6! Если кайзер Вильгельм захочет поставить хоть одну ногу на пост № 6, он должен будет переступить через труп легионера Бланшара и запутаться в его бороде!» Так он думает, Стервятник! А легионер Бланшар стоит на посту без штанов! На-те, принцесса, полюбуйтесь! После будет дороже! Легионер Бланшар плюет на своих начальников и на их вражду к бошам. Он бошей никогда не видел и вообще сомневается, монсиньеры кардиналы, удобно ли убивать незнакомых! Он считает, что убивать полезно только некоторых хорошо тебе известных людей!

Как всегда, когда Лум-Лум расходился, он мог болтать долго. Но внезапно он умолк и одним прыжком выскочил на парапет.

Мы все повскакали с мест. Оказалось, к нам шел безоружный немецкий солдат в бескозырке. Мы не знали, каковы были его намерения. Лум-Лум бросился к нему. Когда из нашей ямы выскочил голый человек, волосатый как обезьяна и татуированный с головы до ног, немец едва не

свалился. Лум-Лум подбежал к нему и, смеясь и ругаясь по-арабски, потащил к нам.

Немец ввалился в яму немой от испуга. Не попал ли он в среду сумасшедших? Почему все голые?

— Объясни ему, Самовар, что мы разделись назло командиру.

— Да, это смешно, — сказал немец. — Вы — хорошие парни! Нам тоже скучно по-дурацки сидеть в яме!..

Немец угостил нас сигарами и попросил хлеба.

— Надо что-нибудь придумать насчет покойников и артиллеристов,—начал он.— Позиция здесь хорошая, и вы ребята тихие. Если бы не покойники и не артиллеристы, можно бы жить. Пехота французская и немецкая — ребята хорошие. Но артиллеристы... Они свиньи. Они стреляют издалека, а сами, небось, не показываются. Еще виноваты покойники, потому что они очень шибко воняют.

— Он прав, этот Фриц, — сказал Мочевой Пузырь. — Если бы не подлые артишоки, здесь была бы сладкая жизнь, потому что начальство сюда редко заглядывает.

Немец сообщил, что у них ночью затопило отхожее место и они хотели бы построить новое, на песчаном участке. Но участок не защищен. Так вот они хотят

знать, будем ли мы стрелять в них, когда они будут ходить оправляться, или нет.

Дипломатическая конференция разобрала вопросы быстро. Я передал немцу от имени поста вербальную ноту в трех пунктах. Пункт первый: принимая во внимание, что покойники очень докучают, а с наступлением летней жары будут докучать еще больше; принимая во внимание, что командование их не засыпает, потому что ни одна сторона не хочет первой просить согласия у другой, то есть по соображениям офицерским, а также потому, что рвы, забитые покойниками, являются интересным естественным препятствием между сторонами, что опять-таки нужно только офицерам, — мы, солдаты, решаем засыпать рвы по ночам совместно без ведома начальства. Пункт второй: отхожее пускай строят. Мы стрелять не будем. Со своей стороны, они обязуются не стрелять в нас, когда мы будем греться на солнце. Пункт третий: об артиллеристах. При выходе в тыл обе стороны бьют морду артиллеристам, потому что они сволочи, а пехота с пехотой воевать не хочет.

Немец принял все три условия, солидно попрощался с каждым за руку и ушел к себе.

— Ну, ребята, одеваться, — скомандовал Лум-Лум.

Мы одевались поспешно: что если Фриц

расскажет у себя, что пост не защищен и люди сидят голые, и оружие у них не в порядке? Если кому-нибудь придет там в голову совершить геройский подвиг, то нас переколят, как крыс.

Бельишко уже кое-как просохло, одежонка тоже, только от шинелей еще шел пар. Одевшись, мы стали чистить оружие. Но тревога наша оказалась напрасной: Фрицы не напали.

— Честные ребята! — сказал Пузырь.— Люблю таких. С такими можно жить.

Когда немцы вышли с лопатами на песчаный участок, вырыли яму и обновили ее, мы не стреляли. Уходя, немцы приветливо кричали нам что-то и махали бескозырками.

С вечера мы начали уборку трупов. Работа была не бог весть какая приятная. Наши шанцевые лопатки были слишком малы. Немцы притащили самодельные багры и веревки. Мы зацепляли трупы баграми и набрасывали на них петли, но истлевшие тела расползались. Работы тянулись долго, но зато мы вели их тайно от нашего начальства и к тому же совместно с Фрицами. Было приятно, что у нас есть свои, особые взаимоотношения с неприятелем, противоположные тем, на которые рассчитывало начальство.

Мы звали немцев Фрицами, но вскоре почувствовали, что это неловко. Фриц —

это была кличка. В этом было пренебрежение и вызов. Стало входить в обиход другое, как будто впервые услышанное слово. Его ввели немцы. Они звали нас «камарад». Это слово как-то само по себе вошло в наш обиход.

— Это смешно! — сказал как-то Лум-Лум. — Это смешно! Надо было встретиться с врагами, чтобы вспомнить, что есть слово «товарищ». Он, в общем, тоже глупая задница, этот неприятель! Как и мы!..

— Бедные задницы! — подхватил Мочевой Пузырь. — Они тоже хотят домой, поискать блох у своих баб. Это их начальники посадили их в ямы.

Перед нами стал возникать новый образ. Мы начинали догадываться, что есть на войне кто-то третий, кроме нас и Фрицов.

На конференции голых было установлено, что каждая сторона, уходя на отдых в тыл, предупреждает смену о соглашении и обязывает товарищей поддерживать существующий порядок.

Так оно и было. Мы уходили и возвращались, иногда находили на немецкой позиции новых людей, но порядок соблюдался ненарушимо.

Лето стояло жаркое. Небо в этих местах голубое. Оно висело над нами совершенно спокойное, безмятежное, как если бы войны не было.

Мы сушили гнилую солому, подолгу валялись на солнце и били вшей. В нас не стреляли. Вылазки на парапет потеряли ценность солдатской удали. От этого жизнь стала еще более тяжела. Пропало главное ее содержание, единственное оправдание всех наших несчастий — вражда к неприятелю.

Отсутствие вражды мешало нам жить. Мы переставали быть солдатами. Лум-Лум сделался задумчив и раздражителен. Когда пришедшие к нам в гости двое немцев рассказывали, что в Германии народ голодает, а армия истощена, и солдаты не знают, во имя чего надо так долго страдать, Лум-Лум заволновался.

— Я видел в Оране бой быков! — сказал он. — Ты когда-нибудь бой быков видал, старина? Выпускают на арену молодого бычка с большими глазами. И выпускают несколько дураков. И вот дураки начинают дразнить быка, чтоб он стал злой. А когда они его разозлили, он начинает на них кидаться. Тогда они его убивают и становятся в геройские позы. Они побороли врага! А какой он был враг? Бычок и все!

— Это коррида, — вставил Хозэ Айала. — Коррида! За это хозяин платит деньги!

— Знаю, — раздраженно ответил Лум-Лум. — И бык хозяйский, и дураки хозяй-

ские. Совсем, как мы! Как мы и Фрицы. Выпустили нас на арену — быков и дураков. «На-те! Бейте врагов». Нам говорят, что они быки, а им говорят, что мы быки. В общем, все дураки. Только хозяин деньги огребает!

— Он совершенно прав, — сказал один из немцев. — Хозяева кричат о патриотизме и наживаются. Патриотизм заключается в том, чтобы наживать деньги.

Беседа не клеилась.

— Надо, чтобы люди не хотели наживать деньги, — туго выдавил из себя Лум-Лум.

— Люди всегда хотят наживать деньги, — сказал Мочевой Пузырь. — И притом чужими руками...

V

У Зюльмы с утра пили вино. Грузины из четвертой роты справляли девятнадцатые поминки. Грузины пришли в роту сплоченной группой в двадцать два человека. Восемнадцать поминок они справили на разных концах фронта от моря до Эльзаса. Девятнадцатые — по Луарсапу Иношвили, который был убит снарядом накануне, — справляли сейчас.

Народу было много. Три последних грузина созвали всех, кого могли.

Шалва Гамсакурдия ходил как пьяный и молчал: Луарсап был его лучший друг.

Эгнатэ Чубабрия, прозванный писарями Абракадаброй, пел заунывную песню. Вано Цховребашвили аккомпанировал ему на барабане. Это был старый английский барабан. Вано сорвал с него верхний обод, и получилось грузинское доли. Вано стучал по барабану тремя пальцами правой руки и мотал головой в такт рыдающей мелодии Эгнатэ. У обоих были вытянуты лица и закатывались глаза.

Луарсап был высокий и стройный,
Он любил свою мать.
Девы любили Луарсапа.
И вот смелый барс убит...

Вано положил голову на правую руку и заплакал. Эгнатэ перестал петь. Все стихли. Гастон, сын тетки Сюзанны Бак, бывший солдат 63-го линейного, визжал.

Глухонемой Гастон был инвалид и деревенский дурачок...

Гастон был на фронте приговорен к расстрелу. Он попал к столбу по жребию. Рота отказалась от пищи — дали тухлую баранину. Дело о бунте пошло по инстанциям. Командующий дивизией приказал пропустить роту через пулемет. После упрашиваний он согласился, чтобы расстреляли по одному человеку от каждого взвода. Взводным командирам было при-

казано выделить виновных. Во взводе Гастона солдаты тянули между собой жребий. Жребий вытянул Гастон. Когда трое были расстреляны, а Гастону уже тоже завязали глаза, пришло помилование: успели доказать, что во время бунта его не было в роте. Гастону развязали глаза и освободили руки, но он продолжал стоять у столба. Он тронулся и ничего не понимал. Его отправили в роту. По пути он был контужен тяжелым снарядом, оглох и онемел. С тех пор он жил дома. Гастон шатался по кабакам. Его подпаивали, и он изображал жестами, мимикой и мычанием сцену бунта, жеребьевки и расстрела.

Сегодня Гастон кривлялся особенно усердно. Он хотел развеселить хмурых людей.

Вдруг все бросились к окнам.

На улице происходило нечто непонятное: пронеслись два грузовика с солдатами 236-го пехотного. Солдаты стояли возбужденные, потрясали кулаками, что-то нестройно пели. Над первым грузовиком развевался красный флаг. За грузовиками гнались жандармы и аннамитские стрелки. Появился третий грузовик, тоже с красным флагом. С него соскочили несколько солдат и бросились на жандармов. Били также Ван-де-Нээста. Он кричал не своим голосом, что он не «пандур», то есть не настоящий жандарм, а таможенник из

Бельгии. Били и аннамитов. Двое уже валялись на земле в крови, раскинув руки и ноги. «Долой войну!» «Смерть виновникам войны!» — кричали солдаты.

Все это потрясло нас. Ни бомбардировки, ни штыковые атаки, ни взрывы, ни воздушные обстрелы не производили такого впечатления, как эти крики «Долой войну» и грузовики с красными флагами. Мы даже не знали, сколько продолжалось наше молчание. Его нарушил Гастон. Он запрыгал от радости, — ему понравилось, что солдаты бьют пандуров.

Шум, пение, стрельба доносились теперь из боковых улиц, и мы уже собирались бежать туда, когда к нам ворвался разъяренный Лум-Лум.

Со времени ссоры с Зюльмой, он больше сюда не ходил и дулся на меня за то, что я не порываю с Зюльмой. Он завел себе другую любовницу. По-моему, он все-таки тосковал по Зюльме и искал возможности помириться с ней.

Лум-Лум ворвался, как ветер.

— Видали? Вот это парни — 236-й! Видали, как они проехали? Как арабы на свадьбу! А как они били пандуров? А аннамиты? Что приняли аннамиты, богородица!..

— А ты причем здесь, старый окорок? — с деланной угрюмостью спросила Зюльма. Она тоже тосковала по Лум-Лу-

му. Она часто спрашивала, что делает «этот дурак», «этот кретин», «эта свинья». Она была рада, что он явился, но не хотела этого показать.

— Причем здесь я? Пойди за угол,— там лежат два аннамита, — спроси их. Они еще дышат. Еще успеешь!

Подробностей дела Лум-Лум не знал. Он проходил по улице и видел, как какой-то солдат, «правда, артиллерист»,— сказал он,— «но это ничего не значит»,— стоял на крыльце и говорил, что война полезна только богатым, а нам она без пользы.

— Я это давно твержу!— воскликнула Зюльма.

— Ты не больше, чем дура, и молчи! — прикрикнул на нее Лум-Лум.

Она смолкла и потупила глаза. Я понял, что примирение между ними уже как бы состоялось именно в эту минуту.

— В России, — продолжал Лум-Лум, — солдаты воевать в пользу богатых отказываются. Там все дело наворачивает один штатский, я забыл фамилию, чорт ли вас запомнит с вашими фамилиями.

— Дальше что было?

— А дальше появились грузовики с ребятами из 236-го с красными флагами. Ты мне потом объяснишь, Самовар, почему именно с красными.

— Ладно! Что было дальше?

— Ну, грузовики все уехали, теперь нет

ни одного. Поехали по шоссе. Осталось несколько человек бить пандуров. Славно им попало, этим таможенникам! Увидишь Ван-дер-Вааста, он тебе расскажет.

— Дальше! Дальше!

— Дальше я хочу пить! У меня кишки хрустят в животе, как жестяные — ссохлись!

Зюльма живо поставила перед ним литр вина, он вытащил свою жестяную кружку из кармана брюк и выпил.

Грузинские поминки стали неожиданно веселыми. Гамсакурдия громко всплеснул руками и затянул длинное, протяжное «ва-а-ай».

Цхсвребашвили схватил барабан, Эгнатэ запел менахшири и тогда Шалва вышел на середину комнаты. Повернув кепи козырьком на затылок, держа правую руку ребром ладони у подбородка, а левую закинув за спину, он вступил в пляску.

— Вай! — Шалва кружился на одном месте, делая правой рукой широкий жест вширь и вверх. — Ва-ай! Ва-ай!..

Далекая ли Грузия виделась ему в его напряженном кружении? Друзья ли, растерянные на французских полях?

— Ва-ай!..

Гамсакурдия, запустив руки в подсумки, стал извлекать оттуда пригоршни патронов и разбрасывать их широким и щедрым жестом.

— Не надо война! — закричал он почему-то по-русски.

Его земляки рассмеялись.

— Кацо! — воскликнул Абракадабра. — Что ты дэлаешь? Вэсь свэт смеется, можно кишки рват!..

Но Гамсакурдия разбрасывал патроны направо и налево и кричал по-грузински, по-французски и по-русски одно и то же:

— Не надо война!

VI

Я вышел на улицу — узнать, что произошло в 236-м. Оказалось, полк взбунтовался, требуя отпусков. Полк был расположен в соседней деревне, километрах в пяти от нас. Солдаты захватили грузовики и разъезжают по всей дивизии.

Эта новость вызвала в доме Зюльмы всеобщее сочувствие.

— Отпуска, действительно, надо удлинить. Двести тридцать шестые правы, — признавали все.

Лум-Лум был при особом мнении. Высказывать его он начал так неумело, что Зюльма едва-едва снова не заехала ему по физиономии.

— Отпуска? — сказал он недовольным тоном. — Только всего? Ради этого стоит подымать бунт и начинать дело с жандар-

мами? Если бы я знал, я бы к этим идиотам не присоединился!

— Кто идиоты? — взъярилась Зюльма.— Мужья, которые хотят видеть своих жен? Отцы, которые хотят видеть, как погибает хозяйство без их крепкой руки? Они идиоты? Ты думаешь, что все такие бездомные бродяги, как ты и вся прочая сволочь в Легионе?

— Извините, господа, — поспешно обратилась она к нам, волонтерам.— Это не относится к таким людям, как вы,— вы не настоящие легионеры, вы просто дураки.

Мы расхохотались, и у Зюльмы отлегло от сердца.

— До чего она подлая кляча, эта баба! — смеялся Лум-Лум. — Я говорю и повторяю, что таких солдат, которые подымают бунт только из-за отпусков, я не уважаю. Со всех сторон теперь слышишь о восстаниях и восстаниях. А когда посмотришь ближе, то грош им цена! Ка-а-ак? У Гастона Бак в 63-м восстали из-за тухлой пищи?! Значит, если бы баранина не воняла, у них не на что было бы жаловаться? Они перли бы в огонь без возражения?! В 65-м линейном был бунт из-за усталости. Ребят гнали в атаку два раза на одной неделе. Значит, если бы дали отдохнуть с месяц на спокойном месте, где только гниют в окопах, они бы не бунтовали и перли бы и дальше в атаку, как к

жене в постель? Со всех сторон слышишь о таких восстаниях! Вина мало дают — восстание! Жалованье задерживают — восстание! А эти дураки, двести тридцать шестые?! Дайте им отпуск длинней на двое суток, и они не будут носиться как сумасшедшие в грузовиках, и не будут петь своих песен, и не покажут своего красного флага, и не будут бить морду жандармам? Они будут переть в огонь, как на свадьбу! Так? Ах, как легко вести войны, когда армия состоит из дураков и баранов! И вот я говорю и заявляю: я на такие бунты не пойду! И я не считаю солдатским другом того, кто приходит и подбивает пехотинца на такие бунты! Первому наломаю затылок!..

Лум-Лум сидел, повернувшись всем корпусом к аудитории, и Зюльма влюбленно подливала вина в его кружку. Лум-Лум пьянел. Голос у него оседал и хрипел все больше.

— Я говорю открыто: я потерял охоту воевать. Раньше, когда мне случалось помочь Фрицу добраться на тот свет, я бывал доволен. Это меня освежало. А с некоторых пор у меня всякое удовольствие пропало. Я спрашиваю, — если это нужно, то кому это нужно?

— Ты прав, мой маленький кролик! Ты прав! — воскликнула Зюльма над самым ухом Лум-Лума так, что тот вздрогнул.

— Ты помалкивай! С тобой разговор отдельно, — огрызнулся он. — Я не говорю, что не надо воевать. Есть на свете такие, у которых требуха напрасно томится в брюхе, ее надо освободить. Но это не Фрицы...

— Мне кажется,—робко вставила Зюльма, — что это именно то, что сейчас делают солдаты в России, если верить одному артиллеристу, который...

— Я не знаю, что делают в России, и артиллеристы не интересуют меня. Налей мне вина и молчи!— оборвал ее Лум-Лум.

VII

Меня послали в штаб. Накануне была получка. У солдат имелись деньги. Как всегда в такие дни, я возвращался нагруженный разными покупками, главным образом, вином.

Недалеко от поста, у последнего поворота «кишки» я услышал из ямы громкие голоса. Я ускорил шаг и стал различать чей-то чужой голос.

— Приказываю стрелять! — Я узнал голос командира батальона майора Андрэ.— Стрелять немедленно!

Попадаться на глаза майору Андрэ, когда он бесится, особенно, имея на себе шесть баклаг вина, я не хотел. В двух

метрах от меня находилось углубление, прикрытое повалившимся деревом. Я бросился туда.

— Стрелять немедленно,— орал майор. Ему отвечал Лум-Лум.

— Сейчас они не воюют, господин майор. Они оправляются. Мы стрелять не можем.

— Стрелять! — ревел майор.

— Господин майор, у нас условие! — продолжал Лум-Лум.

— Вы будете стрелять? — уже не своим голосом рычал майор.

— Нет!

Повисла очень короткая пауза, и майор заговорил снова, но на сей раз голосом спокойным, сдержанным.

— Имя? — кратко спросил он.

— Айала! — подсказал голос Миллэ.

— Легионер Айала, приказываю вам стрелять по неприятелю,— отчеканил майор негромким голосом.

— Не могу, — ответил Хозэ.

— Имя? — спросил майор.

— Незаметдинов! — подсказал Миллэ.

— Легионер Незаметдинов, приказываю вам стрелять по неприятелю.

— Нет.

Еще двое ответили так же кратко, как предыдущие. Последним отвечал Лум-Лум.

— Убирайся вон, грязный верблюд! — с расстановкой сказал он. — А так как вы, господин майор, знаете по-арабски, то я вам говорю «наалдын забор о'мок». Это, знаете, очень оскорбительно для вашей уважаемой матери, сударь.

— Очень хорошо, — преувеличенно корректно и глухо сказал майор, и я услышал его шаги.

— Я пришлю смену в пост № 6, — сказал майор, — а вы оставайтесь здесь! Оружие отобрать! При малейшей попытке бежать, вы стреляете.

— Слушаю, господин майор, — ответил Миллэ.

Я вылез из ямы и бросился к ребятам.

На ходу я услышал короткий револьверный выстрел и крики.

Ребята взялись за Миллэ. Он лежал на земле ободранный и окровавленный.

Его колотили руками и ногами куда попало. Незаметдинов, голый по пояс, плясал у него на животе и тряссяь Лум-Лум, в одних исподниках, бил каблуками под подбородок. Миллэ тяжело и глухо стонал и все тянулся правой рукой к своему револьверу, который валялся на земле.

В азарте ребята приняли меня за караульного, который пришел арестовать их. Кто-то даже ударил меня. Миллэ был на минуту забыт. Он лишился чувств, и это его спасло.

— Что вы наделали, черти, ведь вас теперь расстреляют!

Все стояли красные, возбужденные. Незаметдинов дрожащими руками скручивал цыгарку. Тут я увидел, что Пеппино лежит на земле в луже крови и рвет на себе шинель.

— Шакал выстрелил в него!

Пуля попала Пеппино в грудь. Кровь била из раны и изо рта.

В коридоре послышались шаги. Прибежал лейтенант Рейналь.

— Что вы наделали, дураки?! — кричал он в ужасе. — Что вы наделали?!

Лум-Лум дышал тяжело.

— Чорт же их принес, когда не ждали, — сказал он. — Я, вот видите, даже штаны снял, — извините мое неуважение, господин лейтенант, — вошь очень докучает. Грелись на солнце. Ну, немцы, конечно, не стреляют. Они в отхожем сидят, а мы греемся на солнце. Ждем Самовара с вином. Принес? Вот хорошо! Давай...

Он забрал у меня баклагу и стал жадно пить из горлышка. Карменсита тоже выпил и загрустил. Он молча опустил голову и прислонился к стене.

— Да! Значит, пришли наши любимые начальники, увидели нас в таком облачении и сейчас же подарили по пятнадцати суток ареста, — продолжал Лум-Лум. — Я поблагодарил от имени Академии наук,

Он взъелся: «Месяц! И одеваться немедленно!» Тут я тебе скажу, старик Самовар, и вы извините, господин лейтенант, мне стало смешно все на свете. Я говорю ему: «Зачем одеваться? Погода жаркая. Мы вошь сушим. Садитесь с нами». Майор озверел. Хватается за револьвер. Миллэ тоже. Они за оружие и мы тоже! Такого они еще не видели. Они привыкли иметь дело с баранами и испугались.

— Эх, рюско, если бы ты видел эти морды! — перебил Хозэ Айала. — Я даже не понимаю! Ведь мы их видели в бою, — они храбрецы. А тут у них сразу животы ввалились.

— Ну, конечно! Дурак! Это ведь восстание. Майор видит — дело плохо и пробует смеяться. В это время он заметил, что немцы оправляются в отхожем месте. Он задумал соблазнить нас этой добычей и кричит: «Дурачье, немцы вам зады показывают, а вы любуетесь и не стреляете! Кто мне подсунул таких солдат? Это не солдаты! Это — армия спасения!..»

— Ладно! — перебил я Лум-Лума. — Остальное я слышал. Что будет дальше?

— Дальше, я думаю, мы сделали глупость и заплатим за нее по высокой таксе. Майор побоялся оставаться с нами и ушел. Не надо было выпускать его. Надо было его произвести в убитые на поле чести, — извините, что я так говорю, господин лей-

тенант! А мы дали ему уйти. За это он теперь произведет в покойники нас. А тут еще эта падаль, Шакал! Он стоял здесь со своей кукушкой в руках и дрожал. Меня это взбесило. «Чего ты дрожишь! — говорю я. — Страх ударил тебе в грудь и у тебя открылся желудок? А где твое сердце? Сердце патриота?» И при этом я както незаметно вклеил ему пару каштанов в рыло. Эти же дураки обрадовались и стали его убивать. Конечно, это веселит сердце. Но он выстрелил и попал в Колючую Макарону. Что, больно, старина?

Пеппино скрежетал зубами, чтобы не кричать.

— Ничего!—успокаивал его Лум-Лум.— Одну пулю ты уже имеешь! Эта самая неприятная. Остальные одиннадцать будут легче.

— Замолчите, Бланшар!—крикнул Рейналь.— Вас не спрашивают. Лучше наденьте штаны!

— Слушаю, господин лейтенант!

Лум-Лум стал одеваться.

— Эх, — сказал он со вздохом, — и вошь не добили, и Шакала живого оставили.

Пеппино сделали перевязку. Он впал в забытье. Когда мы перешли к Миллэ, у него оказались явные переломы ребер и черепа. Он был очень плох и лежал без сознания.

Мы переглянулись с лейтенантом.

— Бегите! Бегите, идиоты! — сказал я. — Бегите, пока не поздно!

Но было поздно. Уркад с револьвером в руке уже стоял у входа в нашу яму. Позади него, хлопая ремнями и стуча прикладами, топтался взвод.

— Смирно! — заревел Уркад. — Одеваться!..

Люди стали одеваться. Уркад точно впервые увидел меня.

— Вы здесь, русская грязь? — закричал он. — Вы здесь? Я уверен, что это все ваши штучки! Все русские — сволочи!

— Закрой отверстие, Уркад! — негромко сказал Лум-Лум. — Этот русский здесь не при чем! Он только что пришел из штаба.

— Этот русский здесь не при чем, — подтвердил лейтенант. — Пошлите за носилками.

Люди оделись. Они стояли, растерянно улыбаясь. Только когда унесли раненых, когда Уркад разместил в посту смену, приказал одному из караульных забрать винтовки арестованных и скомандовал: — Вперед, шагом марш! — все впервые поняли, что произошло непоправимое и что конец жизни близок и ничего сделать нельзя.

Было мгновенье, когда все, казалось, дрогнули.

Как-то слишком растерянно перегляну-

лись люди между собой. Кто-то вздохнул слишком тяжело.

Но Лум-Лум поднял глаза и рассмеялся. Все, в том числе конвойные и даже Уркад, вздрогнули и вытянулись. Этот грязный, обросший бородой, завшивевший солдат выпрямился и встал в цепь первым. Впереди кучки обреченных, которые сделались мятежниками так же неожиданно, как стали солдатами, Лум-Лум выглядел, как упрямый боец, суровый вождь.

Неожиданно для всех окружающих и для самого себя я очутился среди арестованных. Итти было недалеко: майор распорядился посадить всех до суда в пустую канью, в первой линии. Затем пошла телефонная трескотня и начались приготовления к суду.

Суд должен был заседать тут же, в траншее, в большой канье, где раньше жили пулеметчики.

Солдаты стали собираться у нашего помещения, но на часах стояли жандармы, спешно вызванные из деревни.

Я лежал в глубине каньи на соломе, никто меня не видел, обо мне забыли. Остальные сидели на земле у входа. Они смотрели на свет с жадностью зверей и молчали. Мне надоело лежать в темноте, я тоже выполз к дверям. Тогда меня увидел проходивший мимо майор. Он первый обратил внимание на то, что я был при ору-

жии: винтовка точно приросла к моим рукам, я не заметил, что притащил ее с собой в канью смертников.

— Кто позволил назначить этого русского в караул? Конечно, мсье Рейналь? Этого еще нехватало?! Марш отсюда! В пост № 6! Живо!

Спасенный от роли подсудимого, я на суде все же присутствовал: для Незаметдинова нужен был переводчик.

Работы переводчику было немного. Кивком головы Ахмет Незаметдинов подтвердил свое имя и фамилию, кивком утвердительно ответил на вопрос о виновности. Почти так же вели себя и остальные. Доставленный на носилках Пеппино Антонелли ничего не ответил — он был почти без сознания. Говорил один Лум-Лум.

Как будто не слыша окриков и угроз председателя, Лум-Лум заявил:

— Я вам советую расстрелять меня.

— Военный суд не нуждается в ваших советах. Вы можете быть спокойны! Вы будете расстреляны, как бешеная собака!

— Правильные слова, господин майор! Я был покорной собакой. Теперь я взбесился! Если вы не расстреляете меня, я пойду по всем полкам дивизии и еще дальше. Я буду говорить всем солдатам, что нельзя быть дураками и бунтовать из-за отпусков, из-за баранины или жалованья. Здесь не швейная фабрика. Здесь совсем

другая работа. Я буду кричать всем солдатам: «Бросайте эту работу! Пусть хозяева сами ее делают! А мы будем им ломать морды в это время».

— Молчать! —орал майор.

— Если хотите, чтобы я молчал, расстреляйте меня поскорей. Бить я хочу настоящего врага. Когда я его поймаю, я буду держать его за рыло и крошить ему башку. Он загнал меня в гнилую яму, где меня едят вши. Он прикрутил фитиль солнца над моей головой!

Майор орал и топал ногами, но Лум-Лум говорил уверенно и четко. Его не сумели остановить, даже когда он в конце своей речи обратился ко мне:

— Ты потом расскажи всем, старик, как мы жили, как воевали и как нам дали по двенадцать пуль на завтрак за то, что мы стали, наконец, кое-что соображать.

— Убирайтесь вон! — заорал на меня майор. — Какого чорта вы тут торчите? Кто вас пустил сюда?

VIII

Ребят повели расстреливать утром, часов в десять. Солнце уже грело во-всю. На деревенском кладбище сенегальцы и спаги кипятили в кухонных бачках белье. Подштанники сушились на крестах. Брон-

зовые силачи из Магреб-эль-Аска и черные гиганты из Судана и Сенегала нагишом валялись на солнце. Все повскакали с мест, догадавшись, зачем батальон легионеров выстраивается в каре.

Осужденные шли гуськом. Впереди на носилках несли Пеппино Антонелли. Последним шел Лум-Лум. Он спокойно и равнодушно посматривал по сторонам. Увидев меня издали, он приветливо кивнул мне головой.

Трубачи заиграли встречу, как полагается по уставу президенту республики и солдату, ведомому на казнь...

Майор Андрэ кончиком стэка счищал грязь с башмаков.

На минуту осужденных заслонил небольшой холмик, стоявший между нами и кладбищем.

Внезапно в воздухе зажужжал снаряд, он приближался долго и разорвался у кладбища. К нам забросило руку в зелено-синем рукаве бельгийского мундира. Из-за холма с кладбища неслись крики.

Батальон стоял под ружьем. Трубачи играли встречу.

Шли минуты, а осужденные не появлялись из-за холма. Майор Андрэ послал Уркада узнать в чем дело.

Уркад вернулся шатаясь. Он был бледен, у него тряслись руки, зубы стучали,

— Несчастье, господин майор! Беда! — сказал он. — Двое бежали.

— Где Бланшар? — не своим голосом крикнул Стервятник.

— С-с-скрылся, господин майор! Бежал! Оба жандарма разорваны, двое осужденных и оба носильщика ранены! Бланшар и Незаметдинов скрылись.

Бешенство, ярость и исступление овладели командиром батальона. Старый солдат, видавший виды и опасности, всегда медлительный, непроницаемо молчаливый и тяжелый, визжал, как истеричка:

— Погоню! Живо! Оцепить! Найти!

Майор растерялся. Его волнение передалось остальным офицерам и сержантам. Они без толку бегали взад и вперед по площадке, а трубачи, которым забыли дать отбой, попрежнему играли встречу.

Затаив дыхание, мы в рядах считали секунды.

Сержанты кинулись на кладбище. Но беглецов там не оказалось. Никто ничего не знал. Все были заняты своими ранеными. Суданцу Ками-Мусса оторвало руку. Он лежал на земле голый, выпучив глаза. Потрясая в воздухе своей единственной рукой, черной, как обуглившееся полено, он кричал не своим голосом.

Люди из четвертой роты привели Пузыря и Карменситу. Оба были ранены в ноги. К столбам их пришлось привязывать...

Посланные за беглецами вернулись ни с чем. Растерянность продолжалась.

Пузырь все время, до самого залпа, не переставая, кричал по адресу майора ругательства:

— Ты свинья и дитя свиньи! Стервятник!

Пеппино был расстрелян на носилках: их поставили вертикально.

Казалось, уже все кончено. Сейчас будет дефиле перед трупами, и нас, наконец, отпустят. Но внезапно все взгляды устремились на холмик. Ведомый за руки двумя жандармами, показался Незаметдинов. Трубачи заиграли встречу с удвоенной яростью. Изорванная куртка Незаметдинова и здоровенный синяк под глазом у одного из жандармов свидетельствовали, что взять беглеца было нелегко. Он шел быстро, точно торопился скорей кончить дело. Войдя в каре, он направился прямо к столбу, врытому в землю у открытой могилы.

Уже упал и Незаметдинов, а Лум-Лума все не вели.

«Неужели поймают? Неужели поймают?» — с замиранием сердца думали мы.

— Чорта с два они его поймают, — сказал Адриен.

— Теперь всю дивизию перероют.

— Всю жандармерию и конных стрелков теперь на ноги поставят.

— Хоть на голову!..

Было жарко. Было душно. Было душно смотреть на четыре трупа и ждать пятого. Было душно ждать смерти Лум-Лума.

Солнце было в зените, когда нас увели с площадки, так и не дождавшись беглеца. Взбешенный майор не захотел выступать впереди своего батальона: он ушел в переулок, едва мы обогнули кладбище.

— Продолжение в следующем номере,— буркнул кто-то в рядах.

— Если поймают...

Весть о том, что в Легионе смертник бежал из-под расстрела, облетела деревню в один миг.

В домах, в кабаках, на солдатских квартирах люди бились об заклад, что беглеца не поймают, гадали в орел и решку, яростно кидали кости из кожаных стаканов.

Мозиказика — парень из сенегальской части, самокатчик — говорил, стуча громадным черным пальцем по рулю велосипеда:

— Значит, ему не лежал дорога через смерть. Она теперь долго живи. Она теперь кого-кого большой неприятность делай.

Лум-Лума не нашли за весь день.

Когда прошло еще три дня и поиски продолжали оставаться безрезультатны, мы стали вздыхать легче: теперь уж он, значит, далеко.

Мозиказика разводил руками:

— Значит, ему не лежал дорога через смерть.

Примерно через неделю в речке нашли распухший труп. Мы бросились всем взводом опознавать покойника. Нас всех охватила тревога. Покойник оказался Ван-дер-Ваастом. Пандур почему-то утонул голым. Зюльма лукаво улыбалась.

А Мозиказика твердил свое:

— Нет, — говорил он, — Лум-Лум дорога через смерть не лежит. Она теперь долго живи. Она кого-кого большой неприятность делай.

Москва — Голицыно
1934 — 1935 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Ответственный редактор Ф. Левин
Технический редактор Н. Греймер
Уполн. Главлита Б-21515

Тираж 10200 экз.
С. П. № 73
Сдана в производство 23/II 1936 г.
Подписана к печати 2/VI 36 г.
авторских листов 9,5
Учетно-авторские 10,2
Количество листов $19\frac{1}{2}$
Бумага 72×90
Зак. № 162
39-я типография Мособлполиграфа,
Москва, пр. Скворцова-Степанова, 8

ЦЕНА 3 руб.
ПЕРЕПЛЕТ 1 р. 25 к.